

# СИОН

ІГ'У

Издается с 1972 года

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ВЫПУСК.

1974

МАРК АРНЭВЭС.  
ИОСИФ БЕЙН.  
ЦВИ ВАРШАВСКИЙ.  
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА.  
ЗАЛМАН ДУБНОВ.  
ВАЛЕРИЙ КУКУЙ.  
МОШЕ ЛАНДБУРГ.  
ЭРНСТ ЛЕВИН.  
ГЕРШОН ЛЮКСЕМБУРГ.  
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ.  
ЛЕВ МАК.  
ДАВИД МАРКИШ.  
РИВКА РАБИНОВИЧ.  
АЛЕКС. РАДОВСКИЙ  
ГЕНРИХ СОКОЛИК.  
ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ.  
ЮЛИЯ ШМУКЛЕР.  
РЕМЕЗ ЯКОБИШВИЛИ.

9

# СИОН

**ЛИТЕРАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

Издается с 1972 г.



Издается Координационным Комитетом  
активистов алии из Советского Союза

---

1974  
תשל"ד

9

---

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Ответственные за выпуск: А. Пинскер**

**Л. Котлерман**

**Художник: Марк Байер**

**В редакции принимают:**

**Среда — с 13—18**

**Адрес редакции:**

**Тель-Авив, ул. Хиссин, 4а, подъезд 2, кв. 8.**

**Тел.: 299942; 299832**

СОДЕРЖАНИЕ

Э. ДУБНОВ — «На автобусной станции» . . . . .	5
Хамсин (стихи) . . . . .	7
Ю. ШМУКЛЕР — Витька Пальма . . . . .	9
Начальник автобазы (рассказы) . . . . .	19
Л. МАК — Песенка о «мишуте» Левке (стихи)	30
А. РАДОВСКИЙ — Сказка про Волка . . . . .	33
Э. ЛЕВИН — Читая Тору (стихи) . . . . .	43
Г. СОКОЛИК — О поэтах . . . . .	45
Искушение Святого Франциска. О побе- дителях (сказки) . . . . .	46
Г. ЛЮКСЕМБУРГ — Чужие облака (стихи) . . . . .	47
М. ЛАНДБУРГ — Эхо (рассказ) . . . . .	49
И. ЕЕЙН — «На могилы мои лицемеры...».	51
Солнце на пятнах (стихи) . . . . .	52
М. АРНЭВЭС — Сын Соломона (рассказ) . . . . .	53
Л. ВЛАДИМИРОВА — Восток . . . . .	55
В больнице . . . . .	56
Б. Пастернак (стихи) . . . . .	57
Р. ЯКОВИШВИЛИ — «Людей не видя пред собой...» (стихи) . . . . .	58
Э. ЛЮКСЕМБУРГ — Третий Храм (повесть. Окончание) . . . . .	59
Ц. ВАРШАВСКИЙ — Строки любви (стихи) . . . . .	90
В. КУКУЙ — Как я не стал актером (рассказ) . . . . .	93
Д. МАРКИШ — Живучее мясо (рассказ) . . . . .	97
Р. РАБИНОВИЧ — Банальности (стихи) . . . . .	105
Г. ШАХНОВИЧ — Перья безумца (рассказ) . . . . .	107

## ОТ РЕДАКЦИИ

Проблема приобщения к печатному слову на иврите была бы не велика, если бы вся сложность ее заключалась только в том, что большинство репатриантов из СССР еще не могут и долго не смогут ни читать, ни писать на иврите, как по-русски. Будь это так, проблема относительно легко и быстро решилась бы с помощью переводчиков.

Однако приобщение к иноязычной культуре сложно и по другой причине. По той причине, по которой ни один народ не может духовно жить и развиваться только за счет переводной литературы. Ибо переводная литература способна расширить, углубить, дополнить, развить, но... не может заменить собственной, в которой отражается индивидуальное мировосприятие, обусловленное особенностью индивидуального исторического опыта. Это справедливо также относительно любой, большой или малой, группы людей — народа, нации, алии...

Историческое прошлое нынешней алии из СССР отличается не только от прошлого местных уроженцев и репатриантов из других стран, но и от прошлого «русской алии» 20-х годов. Поэтому у нынешней алии из СССР, как и у каждой, свое особое мировосприятие.

Такое положение вещей, разумеется, не вечно, и со временем алия из Советского Союза сольется с основным населением Израиля, создав духовно единое общество. Но пока существует особое мировосприятие этой алии, оно должно находить свое выражение в творчестве ее поэтов и писателей. Ибо существование собственной литературы означает наличие нормальной духовной жизни. Означает также и возможность приобщения к переводной литературе, поскольку любая другая, иноязычная культура воспринимается лишь в соотношении с собственной. А в конечном счете все это означает успешность духовной абсорбции нынешней алии из СССР, ведь никаким иным путем эта духовная абсорбция осуществиться не может.

Поэтому редакция журнала «Сион» предоставила страницы целого выпуска творчеству литераторов-репатриантов из Советского Союза.

Редакция надеется, что литературные выпуски станут традицией журнала и художественный уровень их будет неуклонно повышаться. В первом литературном выпуске главную свою задачу редакция видит в том, чтобы положить начало этой традиции.

## ЗАЛМАН ДУБНОВ



Я родился в 1949 г. в Риге. Учился на факультете психологии Московского Университета. В Израиле три года. Занимаюсь психологией и английской литературой в университете Бар-Илан.

Стихи пишу давно: печатался в «Гранях», «Русской мысли», «Новом русском слове» и в израильской прессе на русском языке. В этом году выходит сборник моих стихов.

Английским я владею свободно, но писать на нем мне все-таки труднее, чем на русском.

В иврите есть мудрая рациональность, пророческая мощь и патриархальное благородство. Мне хотелось бы на нем писать, и я надеюсь, что когда-нибудь это удастся.

Недавно скончавшиеся Авраам Шленский и Эзра Зусман — крупнейшие израильские поэты и основные переводчики русской поэзии, в свое время убеждали меня в полной реальности перехода на иврит. Я не запомнил имен, приводившихся в доказательство, но их количество поразило меня. Все эти люди, для которых иврит был вторым языком, стали израильскими поэтами и писателями. Да и для самих Шленского и Зусмана родным языком был русский. Шленский, в семье которого говорили и на иврите, немного знал его до репатриации, а Зусман приехал в Израиль приблизительно с тем словарным запасом, с которым приезжаем мы.

Джозеф Конрад, крупнейший стилист в английской литературе, эмигрировал в Англию, в возрасте 26 лет, не зная ни единого слова по-английски. До конца своих дней Конрад говорил по-английски с сильным польским акцентом.

Я вспоминаю все это, не потому, что считаю будто творческое овладение вторым языком естественно или несложно. Я просто думаю, что оно возможно.



## ХАМСИН

Опять настали дни больших ветров  
И на дорогах трудно пилигримам,  
Тревога в кровь вползает и под кров,  
Идет хамсин центуриями Рима.

Кочует тучным стадом. Травы мнет  
Горячими шершавыми губами,  
И серой птицей застит небосвод,  
И ночью будит родовую память...

Он шел в Египет. И настиг в пути.  
И камень, отшлифованный хамсином,  
Она тогда взяла, чтобы спасти,  
Чтобы отнять плоть крайнюю у сына.

Разбили стан, устав, в пустыне Сия.  
Рассудок замутив, как тучи пыли,  
Как смерч песков, на них напал хамсин.  
Лишь столб огня не мог он пересилить...

— О варварской страпы проклятый ветр! —  
Циплат размяк и взмок, как в римской бане,  
— Миазмы Стикса вырвались из недр.  
Уж лучше умереть на поле брани...

Был этим летом жар невыносим.  
Могильные потрескались плиты,  
И пламя раздувающий хамсин,  
Покончив с Храмом, в мозг вселился Тита...

Спят мертвые. Он им диктует сны.  
Поет в ушах солдат перед атакой.  
Шевелит мох в расселинах Стены.  
Кольшет хворост колкий под Исаком...

Забытие. Приход больших ветров.  
Спали мне душу пламенем незримым  
Твоих, хамсин, стремительных костров,  
Но дай дойти до цели пилигримам.



Несколько слов о публикуемом стихотворении «Хамсин».

Подсознательная родовая память человечества, о которой говорил Карл Юнг, становится в этом стихотворении родовой памятью нации. Нация эта, подведя итог классической цивилизации, определила современный мир таким, каким мы его знаем.

Хамсин Иудеи был смертным приговором Пилата.

Равнина Трои стала пустыней на пути в Египет, где жена Моисея совершила обрезание сына камнем («Исход», IV, 24). Эта эра дикая в своей страстности и иступленности, как крик пророка и порыв хамсина, породила традицию, в ритуале и церемонии которой, например, Йейтс видел основную ценность, живительную основу иудейско-христианской цивилизации.

Замысел стихотворения — это связь между прошлым, настоящим и будущим, это пилигриммы, упорно идущие сквозь вечный хамсин родовой памяти, чтобы от забвения спасти традицию, а наш мир — от саморазрушения.

**Залман ДУБНОВ.**

## ЮЛИЯ ШМУКЛЕР



В редакции меня спросили: «Почему вы пишете по-русски?» А по-каковски ж я должна, спрашивается?

У Шекспира принц Генрих говорит: «Подумать только, у этого малого запас слов меньше, чем у попугая, и все-таки он рожден женщиной». Так вот, на иврите у меня запас слов, как у попугая, на английском — как у глухонемого, и только по-русски я рождена женщиной. Да и язык-то русский какой — не язык, а салазки, сел и поехал. Переводчики, конечно, не перебредут, половина потеряется — но кто в наше время не теряет?

Конечно, хорошо было бы писать на языке ведущей нации — никаких переводчиков не надо; но тут, опять же, не угадаешь — вчера это был французский, сегодня — английский, а завтра, не дай бог, китайский. Что же, китайский прикажете учить? Нет уж, спасибо, у меня еще с ивритом временные затруднения.

Кого действительно жалко, так это тех, кто творит на новом, олимско-ходашимском языке, возникшем от беспородного скрещивания русского с ивритом и понятном только нам, приехавшим, и никому больше.

— Сука ты, а не асука, — сказала одна тетенька другой в коридоре Сохнута. Вот и переводи ее, с комментариями.

Так что мы, которые на русском, — мы еще ничего, хлеб жуем да почавкиваем, а каково-то им, бедным? Вот над кем надо слезы лить и у кого вопросы спрашивать. А мы-то, которые на русском, — мы еще попашем, и покуда будет что говорить, — скажем, а как исчерпаемся, — стало быть, замолчим, и никакое полиглотство нам в этом печальном случае не поможет.

## ВИТКА ПАЛЬМА

В юности, в ту цветущую пору, когда девушки трясут грудями, как яблоныя яблоками, я представляла собой прямоугольную, средних размеров щепку, обтянутую неприлично белой, фарфоровой кожей, через которую виднелись вены, артерии, а также все, что делалось внутри. Косточки деликатно высовывались из меня в самых неожиданных местах, и раз, помню, на улице, один из двух дядек, шедших мне навстречу, случайно взмахнув рукой, так сильно ударился о мое бедро, что остановился, подул на уши и сказал неспешно приятелю: «Что за баба, ни спереди, ни сзади», после чего они удалились.

И несчастна я была, как побитая собака — меня только что не приняли в университет, наплевав на золотую медаль, с помощью которой я надеялась протиснуться в это святилище русской науки, и с горя я пошла в заведение, гаже которого не бывает ничего — институт железнодорожного транспорта. К ним не часто заходили с золотыми медалями, и они так удивились, что зачислили меня, не обращая внимания на национальность, и даже дали повышенную стипендию.

Они были имени Сталина когда-то — перед входом еще стояла огромная тумба, с которой его, двухметрового, сняли — и очень военизированные; многие преподаватели до сих пор ходили в темной форме с рельсами, а может, со шпалами на стоячем воротнике, над которым их головы, тупые и бритые, важно торчали, наподобие кочанов, возвращенных в горшках, и имели застывшее выражение. Директор именовался не директор, как у людей, а — начальник, и ему полагалось писать рапорт; зато студенты так и оставались студентами, хотя их истинная сущность лучше всего выражалась словами «потомственный железнодорожник»: все они происходили из глубинки, из железнодорожных семей, гордившихся своим идиотизмом, и жили в общежитии, где пили неумело, блюя после каждой пьянки, и учились в преферанс, незнакомый их отцам, стучащим в козла.

Науки, даже железнодорожные, давались им с великим трудом, и они с недоверием взирали, как я шикарно сдаю экзамены, потратив последнюю ночь на подготовку — кошмарную ночь, полную глубочайшего отвращения и самовоспитания, когда следовало все-таки разобраться в этих контактных сетях и рубильниках, прежде чем идти на судилище. И выйдя оттуда, я изо всех сил трясла головой, чтобы полученные сведения скорей забывались, и они с шорохом, как тараканы, начинали распознаться во всех направлениях, так что к вечеру я уже воз-

вращалась в первобытное состояние и шла на концерт, где, сидя на ступеньках, между ногами и над головой таких же, как я, безбилетников, пронизывала свой организм музыкой, подрагивая, как проводник с током в магнитном поле.

Единственным предметом, в котором проявлялась моя неполноценность, было черчение — шрифты эти разные, проекты, эскизы, детали машин. Те жалкие линии, которые выезжали из-под моего рейсфедера, заставляли нашего чертежника, который мне нравился, потому что ходил не в форме, а в сатиновом мятом халате, высоко поднимать брови и глядеть на меня, как на вошь, ползающую по интеллигентной даме. «Зачем вы пошли сюда?» — спросил он меня однажды, ибо ему, повидимому, было ясно, что я не собираюсь лихо водить электровоз, поглядывая из окошечка на жезл начальника станции, а может быть, даже не собираюсь проектировать освещение на подстанциях, две лампы туда, три сюда — работа непыльная и выгодная, мечта распределяющегося.

«Да ладно вам, — хотелось мне сказать ему, — не знаете, что ли» — но вместо этого я, конечно, пробормотала, что вот, любила физику, но раз не вышло, не все ли равно, железно-дорожный или сталеварейный. Он глубокомысленно покачал головой, осуждая, а я, чувствуя, что дальнейшие объяснения вредны и помня, что в Ленинке меня ждет «Что такое жизнь с точки зрения физики» Шредингера, откланялась как могла мирнее, и побежала в мой любимый общий зал, где столько вечеров провела под зелеными абажурами.

И закончивши книжку я, чтобы сделать этот замечательный день поистине незабываемым, купила на улице большую дорожную плитку шоколада «Слава» и сожрала ее целиком, в один присест, стоя на набережной, против стройной Румянцевской библиотеки — ветер с реки, плитка шоколада в руке, опьянение от множества потрясающих и таких простых мыслей большого ученого, и надежда, что может я, тоже, когда-нибудь, что-нибудь, хоть маленькое...

Надеяться, вообще говоря, было не на что: ни в одной из тех книжек с завлекательными научными названиями, которые я во множестве покупала, я не понимала ни звука — если не считать внезапных прояснений, когда все вдруг оживало и как бы кивало мне со страницы — но тут же закрывалось опять, и я убеждалась, что судьба правильно определила меня в железно-дорожную клоаку, сидеть мне в ней не пересидеть. Надо было плюнуть на эти слюнявые мечты, примириться, не терзать себя понапрасну — я же, непоследовательно, с ненормальным упорством, ездила вечерами в университет, на Ленинские горы, слушать лекции, читаемые для заочников, и, обманув каким-нибудь образом бдительность стражей, сидела в амфитеатре большой Северной аудитории, совсем как настоящая студентка, и слушала, как у огромной доски бубнит свою лекцию увялый пожилой

доцент, конечно, лучше наших кочанов, но, в целом, из той же когорты.

В его изложении моя сверкающая наука превращалась в некое паукообразное занудство, будто физику так и делали подобные доценты, а не великие мира сего с сильно звучащими именами, вроде Шредингера, Бора и Эйнштейна — последний, кстати, был только что разрешен для изучения, а до того, стараниями тех же доцентов, сидел под запретом, то ли как проводник сионистской идеологии, то ли просто как буржуазный идеалист — уж не помню сейчас.

Но по дороге домой, в пустом вечернем метро, с редкими парочками, доцеловывающимися по углам, и пьяными, спящими в неудобных позах, страшная мысль вдруг пронзала мой мозг: что, если не они все дураки, а я одна дура? Спросить было не у кого. Существовали, правда, четыре гениальных еврея, принятых в тот год физфаком в свое лоно — Рубинштейн, Каплан, Янкелевич и Гофман (фамилии их я выпискала в списках), но никто из них на моем жизненном пути не попался, а прочим я не поверила бы.

Ах, Каплан, Рубинштейн, Янкелевич и Гофман! Какие надежды я на вас возлагала! Тут была и любовь (к кудрявому Гофману), и совместные занятия наукой, и общество, где можно поговорить по душам, и танцы, которые я обожала, но никто меня не приглашал, и походы на тихие подмосковные речки, где мы с Гофманом романтически собирали землянику на круглом пригорке в сосновом лесу, и тут бац — я входила в комнату, где заставала три раскладушки вокруг большого дубового стола уже расставленными — пятеро нас спало рядком да ладком, включая родителей на диване — а мой чертеж с деталью «крюк», похожей на солитера в родовых муках, уже выглядывающим из-за шкафа, откуда его при всем желании не достанешь, а у меня и желания такого не было.

Однажды, поздней осенью, ввалившись продрогшая и голодная в наш распотрошенный ковчег — семейство в разного рода дезабилье, позевывая, уже занимало места согласно купленным билетам — я заметила на столе белую, пухлую книгу неизвестного происхождения и ухватив ее вместе с хлебом, колбасой и сахаром, поволокла на кухню, пить чай. Тараканы так и побегли при моем появлении, когда над нашим столиком зажегся свет, дистанционно управляемый из комнаты — соседские столики тонули во мраке — и, подстелив газетку, глотнув горячего чаю, я сжевала бутерброд и между делом открыла книгу, которая называлась «СС в действии». Как правило, подобные вещи я не читала, не вынося жестокости, и даже кошка, сожженная на моих глазах мальчишками на улице, навсегда вошла в репертуар моих снов, не говоря уже о чем-нибудь более серьезном. Но как-то такое я, нехотя, потащила через эти истории, от одной страницы к другой, от картинки с трупами к картинке

с очередями в крематорий, с детьми, глядящими на меня из гетто, с так называемым мирным населением, копающим себе ров — и когда я кончила, часа через три, огромное несчастье уже свалилось на мои плечи, и тараканы начали собираться кланами около родимых своих обиталищ, ибо я сидела тихо и была им теперь неопасна.

Потом меня вырвало, и я долго заметала и замывала следы, потом рассвело и осветило обшарпанный потолок, стены в трещинах и неотмываемо серую раковину — и впервые я испытала удовлетворение от этого безобразия и поприветствовала черненькие головки тараканов, выглядывающие из-под плиты — ибо так я была ближе к смрадным кучам моих евреев, умиравших под пристальными взглядами европейских народов.

И начались эти ночные кошмары, страхи, хуже которых ничего придумать нельзя, когда я ворочалась то на бок, то на живот, пытаюсь заснуть, и пробовала расслабляться и считать до ста, и расправляла простыни, и свешивала голову с раскладушки — но все напрасно, тщетно, сон не шел, и мускулы мои натягивались, как веревки. Истории были совсем простые: одному заключенному сделали укол в сердце, и он тут же умер. Молодая женщина взяла за руки двоих чужих детей — с детьми прямо с транспорта отправляли в крематорий — и сама закрыла за собой дверь, чтобы поскорее покончить с этим делом. И еще какой-то мальчик, двенадцати лет, необычайно умный и образованный, в беседе с комендантом сказал: «Я знаю, что больше я ничего не узнаю».

И в темноте и сопении нашей семейной ночи я в сотый раз, скосив глаза, с ужасом глядела, как под мое желтое, обглоданное ребро вводят огромную, конских размеров, иглу, и еще не веря, не в силах вздохнуть, чувствовала, как она проникает в меня все глубже, глубже, толчок — и с выкатившимися глазами, с отвалившейся челюстью я начинала страшно, хрипя, умирать — так что мама однажды проснулась и стала спрашивать, в чем дело. И в сотый раз, отворив железную дверь, я пропустила вперед по узкому коридору двух чужих малышей, мальчика и девочку, девочку с больной ножкой — но это теперь не имело значения; и снова и снова шли эти слова «Я знаю, что больше я ничего не узнаю» — и я плакала, потому что мне казалось, что это обо мне, что это я больше никогда ничего не узнаю — хотя ведь к моим услугам были все книжки на свете, а тот мальчик просто действительно больше ничего не мог узнать. И то, что он сознавал это и принимал, как взрослый, и выражение его темных глаз, когда он говорил с комендантом — я понять никак не могла, как это небеса не рухнули в обломках, и солнце, как и прежде, светило на гнилую землю.

И я лежала на раскладушке, судорожно вытянувшись, глядя перед собой немигающими совиными глазами, и время от времени выходила почти по трупам сородичей на кухню, пить воду,

или в холодную уборную с вечно протекающим ржавым бачком, который от грязи, казалось, шевелился. И я говорила себе — ну, сколько можно, война давно кончилась. И почему Гитлер? Сталин больше народу убил, чем Гитлер, и сейчас, разве не сажают?

«Сажают», — отвечала я себе тоскливо, и на душе у меня было паскудно, как в пивной бочке.

И когда я, наконец, засыпала, мне снились отравленные реки, отравленные конфеты, тростники, где нельзя спрятаться, лай собак — и наутро, когда я с головной болью перлась в институт, я положительно не знала, в каком времени, пространстве и состоянии я существую, и я готова была за что угодно уцепиться, чтобы отсрочить наступление следующей ночи, и университет был заброшен давно.

И когда я входила в институт, у входа уже стоял Витька Пальма — удивительно стройный, красивый мальчик из города Торького, с коричневыми, без блеска, глазами лермонтовских героинь, с завитком каштановых волос на лбу — и он кланялся мне издали, не спуская глаз, как кланяются старушки прокурору, и следовал на расстоянии в чертежку, где внимательно следил за всеми моими передвижениями и телодвижениями. Видно было, что любовь трахнула его по голове, хотя шансов у него не было никаких — во-первых, Гофман, а во-вторых, когда он подходил поближе, у него в глазах светилось такое меланхолическое собачье обожание, что я невольно свои глаза стводила — ибо никак нельзя достойно ответить псу на его любовь, разве что лечь рядом с ним на пол и целовать в сиреневую пасть, пока не заразишься эжинокками.

Он робко предложил начертить за меня злополучный крюк, на что я, конечно, согласилась — и он сделал великолепный, как его собственные, чертеж, с жирными обводными, изящными пунктирными, безупречным шрифтом на белоснежной, настолько ветронутой бумаге, будто сама муза черчения подошла и дунула чертежом, а не Витька, изогнув свое кошачье тело, часами корпел над ним, подкладывая под локти газеты. Чертежник принял лист, вздыхая — ситуация была ясна ему совершенно — и в знак презрения только пожевал губами, не удостоив ни словом.

Нечего и говорить, что за крючком последовали мрачная болванка в трех измерениях, затем некая вещь, состоящая из дыры с флестончиками, и много чего еще — я уж и внимания не обращала, что там у нас по плану, а Витька был счастлив, спасая любимое существо посредством любимого предмета, и каждый день провожал меня домой, вернее, в темное наше парадное. Мы шли, и он молчал, а я говорила, плела ему разные байки, от Шекспира до Конан-Дойла, и он так удивленно слушал, поднимая брови, и на его чутком лице немедленно все отражалось, что он там подумал и как отнесся — но сам он больше молчал, не обладая словесным даром, и изъяснялся односложно. И поч-

ти никогда не произносил фраз, начинающихся с «я» — так что по сравнению с гражданами, непрерывно сующими вам свое жирное «я», как котлету в руку, Витька находился на другом, редко посещаемом полесе: он вообще как бы не существовал для себя, в качестве объекта второстепенного, незначительного — и если и ходил за мной повсюду, то не потому, что хотел чего-то хорошего для себя, а просто неведомая сила велела ему ходить, вот он и ходил.

И каждый день он покупал мне подарок: то плюшевого мишку, то шоколадку, то нужную книгу — и прощаясь, вынимал его из старенького чемоданчика, с какими ходили после войны, когда портфелей близко не видели, и протягивал мне с искательной улыбкой. Не взять было невозможно — он смотрел так испуганно, будто соображал, что купи он мячик вместо мишки, все обошлось бы; но и брать было никак нельзя — два пятьдесят, рубль, три рубля — он просто терроризировал меня этими ценами, каждой из которых хватало бы на его дневное пропитание, и я уже опасалась, что он убивает или ворует — а что он не ест и ходит в тряпье, и так было видно.

И я стала уверять его, что очень хорошо к нему отношусь, просто замечательно — только не надо мне ничего покупать, и в качестве доказательства разрешила держать меня за руку и целовать в щеку, что в наш развращенный век выглядело до того глупо и по-детски, что скоро я, смеясь, подставила ему губы — и напрасно. Подлинная страсть, которой он был охвачен, затененный взор, холодные губы — это был поцелуй такой жгучей сладости, что я только глаза вытаращила, удивляясь, откуда что берется, а он, как умирающий, прижимал меня к своему серенькому пиджачку, пахнущему химчисткой, и бормотал: «выходи за меня замуж, а? ну, выходи... выходи...»

И через некоторое время — мы целовались каждый день — он уже одурманивал меня до такой степени, что эти его глухаринные бормотания не казались мне смешными, и сердца у нас стучали, как бешеные, и я чувствовала, что еще немного — и я окажусь на самых ступеньках, на удивление соседям. И благодаря этим новым, жизненным ощущениям, мои видения как-то снижались, уползли восвоясь, и если и появлялись иногда, то только в одной части, в невероятных цветных снах с преследованиями — так что получившийся продукт можно было смело пускать на широкий экран, публика бы в накладе не осталась.

Меня удерживало только неверие в Витькину предназначенность — как, этот мальчик? А где же Гофман? Где совместные занятия наукой, разговоры, запланированная общность взглядов? С Витькой не о чем было поговорить — он был чист, как слеза октябренька, и еще в школе привык отвечать на вопросы типа «За что автор любит свою Родину? За что готов сложить за нее голову?» — и сам представлял собой идеальный объект для такого сложения, где-нибудь в окопе, в окружении,



даже не задаваясь вопросом, кто и почему послал его туда. И когда я горячим шопотом наговаривала ему на советскую власть, он только недоверчиво слушал меня, вздыхая, и однажды высказался — что зря, мол, народу все это рассказали, народ должен верить — и посмотрел мудро. А я осеклась и подумала, что не напрасно Сталин их благодарил за то великое терпение, с которым они на его дыбе висели — и как-то раскотелось мне с ним лобзаться и объясняться тоже стало неохота, и я велела ему топтать восвояси, тоном, с Гофманом невозможным, и он ушел понуро, в своем обвисшем коричневом пальто, ничего не понимающий, очень одинокий.

И на следующее утро он уже ждал меня на лестнице, бледный, держа поперек живота тигра за девять тридцать — и он молча протянул его мне, как искупительную жертву Молоху, и в первый раз я почувствовала над ухом свист крыла судьбы.

И, конечно же, через несколько дней в общезитии состоялась драка — кто-то, как-то оскорбил мое национальное достоинство — и Витька в качестве влюбленного рыцаря дрался сразу с тремя, причем стоял настолько твердо, что они никак не могли одолеть его, но потом повалили и начали бить ногами. И когда я накладывала ему примочки на черный, закрывшийся глаз, второй, карий глаз, смотрел на меня любовно и довольно, будто спрашивая «ну как, этого достаточно?» — а потом вдруг взял и закатился, потому что у Витьки была сломана ключица, и никто об этом не знал.

И пока он лежал у тетки на станции Бескудниково, на широкой купеческой постели, возле которой примостилась я, мы снова втянулись в наши поцелуйные утехи — но на этот раз не в темном, холодном парадном, неоднократно прерываемые жильцами, а на выдающихся пуховиках, в маленькой деревянной комнатке, куда тетка, похожая на бабу с чайника и такая же безобидная, и не думала заходить — и последствия вышли самые разрушительные, потому что я осталась жить в этой комнате, приведя родственников в состояние ступора, и каждую ночь засыпала рядом с Витькой на теткиной постели, куда ни одно привидение не осмеливалось носа сунуть, и он еще обнимал меня для верности своей смуглой рукой, даже в глубоком сне.

И когда я просыпалась иногда в темноте, то видела за окошком в мерцающем снегу старые яблоневые деревья, луну, плывущую за облаками, Витькино спящее лицо и крепкую грудь, будто вылепленную Донателло, и счастливо вздыхала, и заворачивалась снова в его руку, и засыпала опять. А на рассвете он уже будил меня — его ненасытной утробе всегда и всего казалось мало — и он был так поразительно хорош со своим выражением глубокой нежности в глазах, уже свободных от всякого рабства, уверенных во мне, что любая красавица считала бы себя счастливой на моем месте, в чем я его очень горячо уверяла.

Потом он бегом носил воду из колонки, в рубашке без пояса.

колол дрова, крикая при каждом ударе, разжигал печь, стоя на коленях, и бежал в институт — чтобы не отвлекаться на меня, дремлющую до одиннадцати в постели, вяло ковыряющую картошку, затем эдак следящую взглядом какую-нибудь науку — потому что с некоторых пор я слонялась по дому, как отравленная кошка, и прошел целый месяц, прежде чем я догадалась, в чем дело.

В панике я побежала в женскую консультацию — и там полная врачиха сказала мне бодро: «Рожать будем, девушка, рожать», и пока я дрожащим от ужаса голосом бормотала ей что-то насчет науки, своей жизни и права на аборт — она уже начала производить какие-то измерения и записывать их в большую карту. И только когда я внезапно сбесилась и стала кричать, что пойду жаловаться, что я тоже человек, хоть этого не видно с первого раза — она недовольно записала меня на аборт, на какое-то кошмарно далекое число, когда уже почти поздно было, заявив, что имеется очередь и что выше головы не прыгнешь.

Но тут Витька, который растерялся поначалу, пришел в себя и начал умолять меня ничего не предпринимать, и ночью лежал без сна, глядя в потолок, и все думал, думал — господи, ну о чем тут можно было думать? Ну, влипли, ну, тяжело — но небольшая экзекуция, и я снова буду свободна, и снова буду бегать в университет—ведь не надо мной же эти слова сбудутся «я знаю, что больше я ничего не узнаю!». Почему же надо мной, именно? И я бросилась на физфак, и достала программу, и лихорадочно стала читать учебники, судорожно пропуская непонятные места, и все во мне было сжато в комочек, в один жалкий комочек, пытающийся отчаянно, в последний момент понять устройство вселенной, мелкие и важные формулы, хребет и мясо науки.

И я вскакивала на рассвете, боясь пропустить час, и больше всего боялась трудных задач — потому что стоило застрять на одной, как все стояло, не двигалось — и однажды Витька, придя домой, застал меня за решением такой задачи, которая не давалась, хоть вешайся, так что я даже головы не повернула, а только буркнула что-то — и только позднее, почувствовав странную неподвижность, взглянула.

Он смотрел на меня тяжелым, полным ненависти взглядом, какого я у него никогда не видела, и он подошел ко мне, и, взяв из моих рук листок, внезапно порвал его с искаженным от безденства лицом, и сказал сквозь зубы:

— Я тебе не позволю, моего первенького... Ты хуже своих немцев... Убийца...

И он пошел и лег на кровать, лицом в подушку, оставив в воздухе ноги в черных, мокрых насквозь ботинках — а дом был полон плюшевых зверей, которые сидели в разных позах,

напряженно следили за нами своими пуговичными глазами, ждали, как решится их судьба. И ночью он рыдал на моем плече и был в таком неописуемом горе, что я уж и не знала, что и делать, и пробовала объяснять ему, что у нас нет денег, нет кровати, кровати, ванночки, нет даже воды, которую нужно в эту ванночку наливать. И что если он бросит институт, пойдет работать — его тут же загребнут в армию, и тогда мы совсем погибли, а главное — если я останусь в железнодорожниках, мне и жить незачем — но он говорил, что я смогу заниматься, что он будет сам пеленать, и ночью вставать, и пеленки берет на себя — он только не обещал кормить грудью, и это показывало, что кое-какой здравый смысл в нем еще оставался.

И мы перестали обсуждать этот вопрос — а время все шло и шло, и меня уже рвало пять раз на день, и Витьку уже погнали с зачета, и еще проекты нависали, и лабораторные по электротехнике, и какой-то старый хвост по технике безопасности. И в отчаянии я много раз таскала тяжелые дрова и здоровенный рельс, который подпирал дверь сарая — но это помогало, как мертвому припарки, и Витька уже прогуливал меня вечерами, говоря, что это полезно, и я уже ступала как утка, больше от воображения, чем на самом деле, и одурманенная тошнотой, тупо смотрела на мелкие звезды.

И только временами, пораженная холодной тоской в сердце, я останавливалась и видела вещи в их истинном свете — как я ненароком выпала из своей жизни в чью-то другую, чужую жизнь, и завязла в ней, и далеко позади осталось все, что было важно для меня — университет, концерты, Ленинка с зелеными абажурами, книжки, я сама, острая и жаждущая, Гофман и Янкелевич, тайные мечты и надежды. И в далекой перспективе, как в перевернутом бинокле, виднелось мое будущее — семья, спокойный, домовитый Витька, рядом я, гладкая и спокойная, стол, заставленный тарелками, на окнах — белые тюлевые гардины и мир, покой, порядок повсюду.

---

## НАЧАЛЬНИК АВТОБАЗЫ

Прекрасную свою автобазу Шурик Рабкин создал, когда ему минуло пять, назначил себя пожизненным начальником и разместился в доме 30 «а» по Ломоносовскому проспекту — таким хитрым образом, что ниоткуда, ни с Ломоносовского, ни с Ленинского автобазу нельзя было увидеть, внутри же она хорошела и процветала. Каждый день издавались новые приказы и распоряжения; гремели в воротах выезжающие автобусы; сотрудники в счастливой суете двигались толпами то на прием к начальнику, то на построенную тут же шоколадную фабрику, то в цирк и кинотеатр — тоже местные, автобазные — и, наконец, в знаменитый буфет-распределитель, где каждый мог получить любые продукты, потребные для семьи, и деньги, если кому недоставало. В стороне, маленький и скромный, стоял музей имени начальника автобазы Александра Рабкина, в котором хранились его личные вещи, начиная с грудничкового периода, все приказы и подшивка газеты «Новости автобазы», издаваемой также начальником.

Газета состояла из двух разделов: «Читатель умоляет рассказать» и политического, который давался с трудом — так, например, начальник размахнулся было на статью «Денежный кризис», но сообщил в ней только, что у некоей старушки на улице сперли кошелек, отчего она и впала в кризис. Фанатично сверкая круглыми зелеными глазами, начальник выпрашивал у мамы машинку и пыхтя, ерзая плотным задом по фолианту «Сопротивления материалов», оставшемуся от ушедшего папы, печатал часами свои волнующие творения.

Истерзавшись полностью сидением и печатанием, начальник, уже кое-как поставив свою подпись под словами «подпись вручаемого» и оставив пустое место там, где должна была расписаться мама («подпись получаемого»), шел, наконец, в свой вечерний, любимый рейс.

Усталой походкой он проходил темным двором автобазы, с редкими пятнами фонарей у раскрытых ангаров, и задержавшиеся сотрудники прощались с ним, торопясь домой с пакетами подмышкой. Он находил свой новенький, салатный ЛИАЗ, ласково освещивающий ему передними фарами, будто говоря «привет, начальник!», садился в кабину, чувствуя ее знакомый запах, ставил ноги на педали — и ЛИАЗ плавно, волшебным образом начинал скользить к воротам, и вот он уже стоял перед светофором, в строю блестящих, радостных автомобилей, на углу Ленинского и Ломоносовского, и на зеленый свет они бешено мчались на третьей скорости, к метро «Университет», так что только рессоры подбрасывали, и дальше, по темным Раменкам, где на каждой остановке стояли граждане и всматривались, ожидая его. И он объявлял в кулак остановки, железным голосом, и снова

трогался, жужжа сначала тихонько, а потом все иступленнее и иступленнее, пока, наконец, не впав уже в совершенное неистовство, не начинал высоко подпрыгивать на диване, мотая головой так, что она чуть не отваливалась у него, и бабушка Ревекка Ефремовна, проходя мимо, бормотала: «Господи, и когда это только кончится» — но он на нее внимания не обращал — толстая, оливковая, неприятная старуха — и несся как стрела, мигая, сверкая, ослепляя огнями и подфарниками, полный властелин на своем высоком сиденье, хозяин, крепко держащий руль и отвечающий за все.

И медленно он вплывал обратно в ворота, заканчивая день, заканчивая рейс, и ставил ЛИАЗ в темное стойло, огладив на прощанье дымящийся бок, и вразвалочку шел домой, благо близко было.

Дома уже ждала мама, любимая, хоть и усталая после работы; он обнимал ее и целовал на уровне своего рта — в живот, а она его — в макушку, в темные жесткие волосы. И пока он рассказывал ей, что по количеству воняния Америка и Япония стоят на первом месте, она вела его, грязного, в ванну, и купала там, и несла, тяжелого, розово-блестящего, в мохнатой простыне, и вытирала и надевала ему ночную рубашку — не потому, что он сам не умел, а потому, что так приятней было, и целовала на ночь, придвигая лежащие на тумбочке рубиновые подфарники, найденные на помойке — и когда она уходила, он еще некоторое время не спал, мучаясь счастьем, покуда не набегала бутылочная волна сна.

В спокойные утра, если бывало подходящее настроение, а за окошком эдак вяло падал снежок, он разводил в банках гуашь — бумага, крупнозернистая, приглашающая, всегда ждала его — и очень быстро, сосредоточенно делал несколько работ — по большей части огромные, дрожащие от напряжения автомобиля, с адскими кольцами выхлопных газов у задних колес, или дома, косо лежащие в пространство под флагами вывесок, а иногда и вовсе что-нибудь эдакое, клубящееся, красно-зелено-оранжевое, немисливо смелое и возбуждающее. И когда он приходил в студию, молодые художники, обучавшие его, молча смотрели эти работы, брошенные для полноты обзора на пол — Шурик первым делом научился этому шикарному движению — и потом наказывали бабушке, ожидавшей в коридоре и слушавшей неодобрительно, всюду, будто невзначай, оставлять листы бумаги, разных форматов, и краски, самые дорогие, художественные, и кисти, беличьи, каких и в продаже не водилось. Они смотрели на Шурика серьезно, без улыбки, отстраненным взором, особенно когда он в своей молниеносной манере малевал что-нибудь, полностью погруженный в предмет, сосредоточенно опустив глаза, отчего его лоб казался высоким и гордым.

Но через полчаса к ожидающей бабушке выходил уже прежний глупый щенок, в коротких штанишках и с домовитым задом, который, сияя круглыми глазами, говорил что-нибудь вроде: «Бабушка, приготовь мне котлеты с тормозной жидкостью», или — «Бабушка, я придумал для тебя новую форму унитаза», или — «Бабушка, я придумал новую модель — тембикатор быстроходный!». Живопись была только

побочным отходом в этой насыщенной автомобилизмом жизни, и когда мама повела его в музей изобразительных искусств, он, оглядевши кое-что из ихней живописи, быстро нашел за дверью огнегаситель, около которого и остался, презрев импрессионистов.

После ухода палы нянькам платить стало нечем, и Шурика записали в детский сад, куда он пошел с большим интересом и расположением, любя, во-первых, общество, а во-вторых, нацеливаясь на большой фанерный грузовик, который стоял там у них в песке. В первый же день какая-то девочка дала ему вафлю, чтобы он позволил себя ущипнуть — а он-то думал, что в детском саду просто так сладкое дают, и опростоволосился. Дальше его щипали уже безо всяких вафель — увидели, что он растяпа и тюлень, сдачи никому не дает, да еще и жид оказался — жид, жид, по веревочке бежит!

Шурик отправился домой, надеясь, что насчет жида это ошибка и как-нибудь оно образуется — но мама строго сказала ему, что это правда, что они жида, еврей, и этим надо гордиться, а не стыдиться. И когда-нибудь, они, может быть, переедут на жительство в государство Израиль, где одни еврей и дразнятся некому — но только это тайна. То есть не то тайна, что в Израиле одни еврей, а что они туда едут — потому что они еще не едут, а только собираются, и неясно, что делать с папиным ребеночком и папой, и вообще, как жить, неясно — и пусть Шурик лучше обратит внимание, когда читает газеты, как Израиль сильно ненавидят и хотят уничтожить — но он не дастся, потому что еврей храбрый. Но это тоже тайна — то есть не то тайна, что еврей храбрый, о господи, а просто лучше ни с кем на эту тему не разговаривать, а то еще нарвешься на какого-нибудь стукача, и поминай, как звали. Ну, это дядя такой, или тетя, которые сообщают, о чем ты говоришь. А в детском саду надо терпеть, пока не научишься драться, а как научишься — лупи их чем попало, защищай свою честь, да не ладошкой, дурачок, а кулаком, — вот так, и можно еще дернуть за ногу, тогда человек падает, но главное — решительность и стремительность.

Но Шурик так испугался этой своей будущей жизни, что начал предлагать, лучше он не будет евреем — что он, присужден к этому, что ли? И когда мама ответила, что присужден, он начал реветь белугой, уже не слушая дальнейших разъяснений, и остановился только от неожиданности, когда вдруг пришли с автобазы, новый сотрудник, да такой милый, с чемоданом и в фетровой шляпе, только-что из Америки, где он лично видел конвейер Форда и старинную Испанскую Сюзу.

И на следующий день мама опять повела его в детский сад, хотя он очень просил не делать этого, каждые пять шагов останавливался и просил, но мама сказала, что он уже большой и должен понимать обстановку, в которой они очутились, тем более что другие дети годами ходят в детский сад, а он уже через неделю не может. Но она обещала зайти пораньше — что и сделала, только для того, чтобы увидеть, как ее любимый сын безответно лежит на полу, а на нем, вцепившись, сидит и молотит кулаками, только что зубами не рвет, ка-

кой-то шакаленок, который, заметив ее, метнулся и убежал. Шурик поднялся, отряхнул штанишки и хотел было сказать что-нибудь ерундовское, для поддержания достоинства — но вдруг увидел ее огромные глаза, которые она не успела спрятать, кинулся к ней и зарыдал ужасно, захлебываясь, корчась, выдавливая из себя «За что ме... меня?» Его начал бить озноб, икота, он страшно побледнел, и мама, перепугавшись насмерть, на руках дотащила его домой, и с детским садом было покончено навсегда.

Вот тогда-то и пришлось призвать бабушку, которую до этого мама просить не хотела, не желая повторения своего детства; и бабушка начала пилить их, и грызть, и есть поедом — не по злобе, собственно говоря, а будучи так уж устроена, чтобы во всем видеть одно худшее, непрерывно ждать беды и подсчитывать убытки. Мамин папа, человек добрый и с юмором, как-то умел уговаривать бабушкин макбетовский темперамент и даже звал ее «Кицик»; но с его смертью бабушка окончательно помрачнела, отсырела от слез и полностью переключилась на дочь-неудачницу, у которой вместо жизни получалось сплошное безобразие.

И так как мамини дела обстояли действительно плачевно, бабушка могла развернуться в полную свою силу, особенно часто и с торжеством повторяя: «не сумела мужа удержать, теперь получай», а также: «не надо было таким мужем бросаться» — забыв, что в мирное время, когда папа жил с мамой, терпеть его не могла и все время дочери повторяла «надо было выйти за Леню» — хотя Леня этот почти не существовал в природе.

Шурику изголодавшаяся по общению бабушка говорила все, что думала — и про цены, и про очереди, и какой негодяй его отец и та девка, и что он теперь сирота и должен всю остальную жизнь хорошо учиться — говорила то, о чем болело ее огромное, расширенное от разных болезней сердце; мама же, неблагодарная, услышав, устроила скандал, и кричала, что лучше снова отдаст сына в детский сад, чем такие разговоры — на что бабушка язвительно отвечала: «отдай, отдай», зная, что дочери деваться некуда.

В силу каких-то особенностей психики бабушка каждое утро пыталась собственноручно умыть Шурика, хотя он вырывался и кричал «Я сам!»; регулярно давала ему какао, запрещенное врачом, говоря «пусть ребенок получит удовольствие», а главное, непрерывно комментировала мамини с ним разговоры, верша справедливый и скорый суд: «это ты ему неправильно сказала», «не надо было забивать ему голову», «глупости какие, первый раз слышу».

И когда мама не выдерживала, просила ее перестать — шла большая сцена, коронное адажио и па-де-де: бабушка плакала, говорила сама с собой, что ее выгоняют из дому и она умрет у престарелых, что надо было родить десять детей, и тогда среди них нашелся бы один порядочный — а так все свои силы она ухлопала на единственную дочь, грубиянку, от которой любой муж должен был сбежать — что он и сделал, оставив ее с ребенком на руках — а как жить, как пла-

тить за квартиру, когда жалованье грошовое, и он теперь дает не целиком, часть несет этой девке, хоть бы она сдохла скорей, и еще приходит сюда, играть с Шуриком, чего она, как бабушка, не потерпит больше, милицию позовет, раз он иначе не понимает.

И мама, в тоске, вспоминала, что у ее сослуживицы по работе, скромной библиотечарши, есть тетя, безумная, единственное достояние сослуживицы, которая на каждый звонок в дверь выползает с небольшим туристским топориком, защищая квартиру — так что сослуживица каждый раз должна успеть первой добежать, открыть дверь и оттеснить плечом тетю, уже наставляющую трясущимися руками топорик. По сравнению с подобным кошмариком, все грехи Ревекки Ефремовны были обыкновенные, еврейские — да и куда ж их девать, этих беспомощных старух, которые ведь не для себя кишки из собственных детей мотают, а для блага самих же детей, от которых требуется только одно: чтобы они были счастливы во всех своих начинаниях, жили богато и слушались старших.

Папа ничего этого не понимал. Он был, хоть и еврей, но из другого профсоюза, где не кричали, не скандалили, смотрели внимательно и застенчиво, никаких амбиций не имели, а задумавшись на улице над каким-нибудь усилителем и наткнувшись на столб, просили у этого столба извинения. И на кипящем предприимчивостью еврейском фоне, где все были такие честолюбивые, бойкенские — что, впрочем, очень хорошо для прогресса — папа выглядел по меньшей мере странно, так что Ревекка Ефремовна презирала его, видя, что ни денег, ни диссертации от него не дождешься, и что человек этот, вообще, настолько неприспособлен к жизни, что случись завтра атомная война и подъезд последний автобус, папа не только не примет участия в неминуемом побоище у дверей, но сам отойдет в сторону, поглядев виновато на маму и Шурика.

Папа был хорош, когда требовалось терпеть — это он мог бесконечно, с каждым днем все более и более замолкая, глядя все тоскливее и тоскливее — незаметный, квадратный человечек, похожий в своих очках на лягушку. В присутствии Ревекки Ефремовны он либо томился в углу, либо норовил отбить куда-нибудь с поручением, на улице уже отдавая должное кипучей энергии этой бешеной старухи, которой бы только дивизионом командовать, недоумевая в то же время, отчего это он против нее до такой степени никуда.

После изгнания папа, конечно, не смог играть с Шуриком на полу в большой комнате под прицельным шквальным огнем этого чудовища, которое нарочно топало мимо них, бормоча проклятия, метало злобные взгляды и каждый раз хлопало дверью так, что штука-турка сыпалась, сердце вздрагивало и всякие слова на устах замирали. Папа сбежал, позорно, безо всякой милиции, и начал встречаться с сыном на лестнице, зазывая для игр на чердак, где Шурик сидел в шубе и потом простудился.

Этого уже мама стерпеть не могла и устроила бабушке здорovenный скандал, в результате которого Ревекка Ефремовна обязалась ездить по субботам отдыхать, на свою прежнюю квартиру — и когда



она выходила, бормоча «пу вас, заездили совсем», с верхнего этажа, спотыкаясь, спускался поджидавший там папа, прижимая к груди кулек зачерствелого зефира, добытого в ближайшей булочной.

Весь мятый, несчастный после всего сексуального преступления, папа переступал порог своей бывшей квартиры и останавливался в волнении. Письменный стол с книгами, заводной автомобильчик на полу в коридоре, железная дорога в углу — все эти мелочи, которые он не замечал, пока жил здесь, теперь просто кричали, вопияли, входили намертво в сердце. Мама, постаревшая, с опущенными глазами, тихо двигалась по комнате — и не веселилась, не баловалась, как раньше, когда по Шуркиной просьбе она придумывала какую-нибудь игру, постановку на троих — «Жизнь гнома Лешеньки» или «Пороховой взрыв на складе» — и порох, действительно, взрывался, и они с Шуриком, одетые в занавески, кисли со смеху, ползая под стульями и изображая гномиков, рты разевали, когда мама, с кастрюлей на голсве, внезапно вылетала на середину комнаты и откалывала там какой-нибудь номер, с пением и плясками — отчего Шурик, бедный, потом никак заснуть не мог от перевозбуждения и мама, кляня себя, поила его среди ночи чаем.

Конечно, каторга домашняя шла у них своим чередом — долги за кооперативную квартиру, очереди в магазинах, Шуркины няньки, сменявшиеся помесечно, из которых одна была пьющая и захрапела при открытом газе, а другая ввела для годовалого Шурки жевание мака, дабы мальчонка больше спал и не тревожил покой — в общем, пожито было нормально, полноценно пожито было, как и положено трудящемуся человеку.

Но уж зато когда входил он в свою квартиру, вечером, после работы, и мама козой прыгала ему навстречу, целовала, миловала, вела на кухню, кормила, освещая при этом события дня — тут уж зато он сидел и ел, как шах-ин-шах какой, чувствуя, что нанял правильную Шехерезаду, и одуванчиковым пухом летели все эти обязательства, долги, денежные вымогательства, до которых в аду не додумались, а зря — грешники от них гораздо живее корчатся.

Особый страх и уныние наводили собой двадцать тысяч рублей — двести тысяч по старому — которые висели на папе как на материально ответственном по лаборатории. Именно на такую сумму было пропито, расхищено и вынесено разного электротехнического добра, которое гуляло теперь по свету в виде самодельных катамаранов, миксеров и даже роботов, разговаривающих по телефону; а папа, несчастный, формально покрывал собой это дело, мог подвергнуться суду и пойти по этапу — хотя начальство знало, относилось благосклонно и обещало списать при первом удобном случае.

Как-то так оно само собой получалось, что именно мамин драгоценный муженек был всегда и материально-ответственный, и на овощных базах сиделец, и по командировкам ездок, по кислым цехам, ртутным производствам, где только местные бабы выживали, по заплыванным гостиницам и вонючим столовым. Тютя, конечно, был папа, тютя и пентюх, на таких только воду возить — что и происходило.

Правда, когда собрались ехать в Израиль, вывозить Шурика, папа вдруг проявил себя молодцом и расторопным: одновременно послал за вызовом и подыскал себе новое место работы. В этот решительный час начальство его несколько засомневалось, будучи, с одной стороны, радо хоть немного сократить процент по евреям, но, с другой стороны, не представляя себе, кто же все-таки в командировки поедет — и хоть на прощанье, напоследок, заткнуло папой зияющую брешь в черноземной провинции, на крошечном заводике, где дело дошло уже до того, что там рукомоייники к стенам цепями приковывали.

И довольный собой, гордый, что он совсем не то, за кого его принимают, папа надел старое пузатое пальто и круглую вязаную шапочку с помпончиком, и улыбаясь своим мыслям, отбыл на Киевский вокзал. И на периферии он уже ничему не ужасался, зная, что видит в последний раз, и даже, как иностранец, испытывал некое удовольствие от экзотики последовательного доставания ног из чавкающей грязи, идучи по базарной площади в направлении райкома, бетонного, в окружении подслеповатых сельских домиков и растрепанных кур с чернильными пятнами на спинах.

И вечером, уже не желая экономить пятьдесят копеек на своем желудке, приготовившемся к приему свеженькой заграничной пищи, папа шел не в столовую, а в гостиничный ресторан, по шницеля, и слабая довольная улыбка блуждала по его лицу, когда он просматривал местное «Ленинское знамя»: «Все выше темпы откорма свиней в колхозе имени 22 съезда КПСС...»

Ах, зря, зря это он улыбался, никогда эти улыбки до добра не доводят — и когда от соседнего столика к нему кокетливо обратилась богемистая черная девица с выступающей челюстью и большими зубами, вылитый японский шпион, хотя на самом деле она тоже была командировочная из Москвы, и начала охмурять его, щуря глаза, курия непрерывно, беседуя об искусстве — папа только слушал ее доброжелательно, забыв о бдительности, и думал, что вот, бедняжка остается здесь, заигрывать с мужчинами, вместо того, чтобы жить здоровой жизнью в Израиле.

И он немножко поагитировал ее за исход, больше для очистки совести, чем конкретно — потому что ей нужно было только замуж, в любом месте земного шара — и они поехали в Москву, срок командировки кончился. Билеты доставала она и взяла зачем-то мягкие, с доплатой по четыре рубля, отчего он еще чертыхнулся мысленно, когда увидел — и только после того, как они очутились в отдельном купе, почью, запертые на защелку, он — на нижней полке, она — на верхней, папа внезапно прозрел, завозился и подумал, что очень оно это, опасно.

И когда в синем свете ночника худющая черная женщина с огромными грушевидными грудями слезла с верхней полки и стала наклоняться к нему, шепча слова любви, папа только одеяло на себя натягивал, бормоча «ну, что вы, голубушка, что вы...», и не мог ни выскочить в коридор в нижнем белье, ни обидеть ее отказом—вообще, ничего не мог—пока, наконец, чувство юмора не взяло в нем верх, и он

не повел себя единственно возможным в данной ситуации образом, после чего домой приехал злой, временами хихикающий и поиметый.

Но через три месяца, чуть только папа перешел на новое место работы и пришел, наконец, вызов из Израйля, за которым они по нескольку раз в день бегали вниз, смотреть в почтовый ящик — позвонила-таки проклятая девица и вызвала папу к памятнику Гоголя, сказав, что есть важное дело. И там, на садовой скамейке она восторженно сообщила ему, что ждет ребенка, обожает уже этого ребенка, и мама согласна воспитывать, раз уж такой грех с ними приключился — с ними!

И оказалось, что у девицы все каким-то образом перепуталось в голове, и на том месте, где она, как древняя приапка, соблазняла папу, теперь стоял голый папа, уговаривая бежать с ним в Израиль — и когда он, реальный, выпучив от ужаса глаза, стал отречься, говоря «вы же сами...», — девица была оскорблена до глубины души, пролила слезы и сказал: «подлость и низость идут рука об руку», ушла драматически, закинув назад голову.

Папа же остался сидеть на скамейке, похожий на большую, заброшенную лягушку, и проходящие мимо псы обнюхивали его на поздней своей прогулке, и один, молодой, вдруг тепло лизнул в руку — отчего папа страшно растрогался, погладил его коричневым, шелковистый лоб и прямо от сердца оторвал, когда хозяин свистнул. Дома он появился в час ночи, серый и обвисший, с таким выражением крайнего несчастья на рыхлом очастом лице, что мама, рассерженная, в халатике, поджидавшая его на кухне, чтобы кормить и ругать, переменяла свое намерение и только руку к сердцу приложила.

И страдальчески морщась, он стал объяснять ей ситуацию — «понимаешь, какая история... в общем, женщина... что ж я мог... одинокая, видно... ей-богу, ведь это ж ничего...» — короче, не в лучшем виде изложил, и мама, выслушав, отошла к распахнутому окну и осталась стоять там, спиной к нему, глядя на спящую серую громаду дома напротив и два тополя, росшие у его подъезда.

На нее будто трактор наехал и никаких особых чувств она не испытывала. Позже прорезался стыд, страшный сексуальный стыд, который будто ножичком по ней прошелся — как, неужели это она, еще вчера, ласкалась к нему, и прыгала по постели, и стихи потом вслух читала — боже, боже, стыд какой!

А папа сидел за столом, есь красный, распухший, ничего не видя без очков, и только надеялся, что сейчас случится что-нибудь, встряска какая-нибудь, отчего она, наконец, заплачет, бросится к нему на грудь и можно будет ее поцеловать. Но ничего такого не случилось, и к утру перед ним была другая женщина — погасшая, подурневшая, еле ноги волочащая, которая даже в зеркало не озаботилась взглянуть, как она выглядит. И дальше пошли необратимые события: она развелась с ним, и вселилась Ревекка Ефремовна, и он записался отцом в метрику родившегося ребеночка — правда, наотрез отказавшись регистрировать брак, к которому его понуждали со всех сторон — и девица, улыбающаяся зазывно, и мамаша ее, такая лас-

ковая, что хоть на рану прикладывай, и еще какие-то пузатые родственники, встречавшие его широкой улыбкой и словами «мазалтов, мазалтов», державшие его, повидимому, за последнего дурака.

Жил он теперь у замужней сестры, в перенаселенной квартире, экономя деньги на всем, чтобы больше отдавать маме — и сидя поздно вечером с сестринскими гостями, дожидаясь, пока они уйдут и можно будет лечь спать, он временами испытывал страшный гнев, почти ненависть, думая, с какой легкостью мама разрушила их жизни, как она не любила его и при первом же столкновении с жизнью предала.

Но когда он встречал ее после работы, по дороге домой, и брал из рук тяжелые сумки, и видел ее усталый, больной взор, криво надегу шапку, стоптанные туфли — он только умолял ее прерывающимся голосом не быть такой идиоткой, не губить их всех — на что она обычно отвечала, что у ребенка должен быть отец, не имея в виду Шурика. Шурик, как она сообщала, был уже большой, он угрожал ее пишущую машинку, пытаясь взять без спроса, и отдал на ремонт накопленные деньги.

И папа замолкел, зная, что она упряма, как осел, и чувствуя за собой ту единственную вину, что он никак не мог привыкнуть к этому своему новому порождению, красненькому, влажному существу, этому незадачливому, который глядел куда-то в потолок странными, выпученными глазами — и с тоской вспоминал крупного, большеголового Шурика, всегда веселого, солидно, прочно занимавшего отведенное ему пространство, глядящего толково и осмысленно. Но зато как же люто он ненавидел ребеночкину мамашу, округлившуюся, налившуюся розовым, как клоп — куда только желтизна и чернота девались — умильно улыбающуюся ему всей пастью, изображая кормящую мадонну с младенцем — так бы прямо взял и запустил ей чем-нибудь тяжелым в голову.

Он все терпел и терпел и дотерпелся уже до того, что готов был жить в своем бывшем доме на чердаке, есть из плошки принесенную мамой еду — как вдруг произошла, наконец, та самая встряска, которую он ждал, завертелось, закружилось мамино государственно-преступное дело в институте. Оказалось, что мама, пользуясь служебным положением и не в силах дожидаться ремонта машинки, перепечатывала на казенной такие страсти, как неизданные стихи Мандельштама, а кто-то увидел и донес. И шрифт, и сила удара совпадали, да мама и не отрицала ничего, а только отказывалась называть, что дал ей самиздат, говоря, что нашла в электричке. Ей резонно возражали, что раз нашла — зачем же перепечатывать, на что мама упрямо замолчала, хоть кол ей на голове теши, и полностью замучила сотрудника первого отдела, ведшего допрос, пожилого партийца, сердечника, который, глотая валидол, слабым голосом пообещал ей передать дело куда повыше.

Пока что маму срочно уволили, как несправившуюся и доверия не оправдавшую — и через день она уже сидела дома, слушая причитания Ревекки Ефремовны и играя с Шуриком в лото. Ревекка Ефремовна, вспомнив свою богатую опытом жизнь и мужнину посадку в пятьдесят втором, до того растерялась и напугалась, что когда

в дом явился папа, весь бледный, косящий от напряжений, она бросилась к нему со словами «Слава богу, вы пришли! Сделайте что-нибудь!» — и если бы не серьезность момента, папа получил бы большое удовольствие.

Но дальше он действовал безукоризненно — сообщив маме, что в случае, если ее посадят, Шурика наверняка отдадут в детский дом (он сам не знал, отдадут или нет, но знал, что в КГБ ей так скажут). И что надо срочно мотать в Израиль, благо вызов еще не кончился, и благо ее уволили с работы — характеристика не нужна. И он сам потащил ее, безвольную, не сопротивляющуюся, по всем инстанциям, и через два дня документы были уже в ОВИРе — вместе с вызовом, из которого папа вычеркнул себя железной рукой, процедивши сквозь зубы — «я-то уж как-нибудь доберусь». Спасая семью, он совершенно преобразился, построил даже, а уж глядел, как сущий Наполеон — так что Ревекка Ефремовна, первый теперь друг, осыпала его льстивыми похвалами, кормила плотно и стелила на ночь на диване.

Кто был в восторге, так это Шурик — и в тот же день вся автобаза подавала, в едином порыве, с женами и детьми, постановив на общем собрании добиваться вывоза советских автобусов — потому что это безобразие было так оставлять старые автобусы, к которым все привыкли и любили их. И во вновь созданном объединении «Москва—Израиль» немедленно началась кипучая деятельность, стук молотков и тасканье ящиков, на которых большими буквами было написано «Эйлат» — ибо именно туда двигалась автобаза, привлеченная приятным звучанием местности и местоположением у моря.

И Ревека Ефремовна тоже вдруг почувствовала прилив патристических чувств, и вспомнила иврит, который учила когда-то в детстве, и помянула дедушку, покойного, который, оказывается, так хотел умереть на родной земле, и поделилась с Шуриком той своей мыслью, что маме в Израиле хорошо бы выйти замуж, за местного, сабру, и что она этим займется по приезде. Но Шурик, который насчет замужества имел слабое представление, а только терпеть не мог, когда его маму обнимали, сказал, что мама теперь закреплена за автобазой, и вообще, что промаслится, то уж не отмаслится — на что Ревекка Ефремовна, не найдясь с ответом, замолчала.

И даже мама, глядевшая поначалу недоверчиво, будто Лазарь воскресенный, скоро раскусила всю прелесть не хождения на работу, освобождения от собраний этих, голосований — и стала ездить за город, в апрельские раскисшие леса, где бродила часами, наступая на старую лыжню. И как-то она, явившись, рассказала, что видела потрясающую сцену — как здоровый рыжий кот, большой хам, судя по морде, делая вид, что смотрит в другую сторону, шел на заклевавшегося воробья — но не успел, воробей вскрикнул и взлетел — и тогда кот сплюнул (мама клялась, что сама видела), надел на морду выражение безразличия и независимо стал точить когти о дерево. И когда она кончила, папа, все еще радостно смеясь, двинулся за ней в коридор, похожий на деревенского парня, ухажера не из первых, и там, в уголке, прижал смеющуюся маму и стал целовать ее — так что, когда Шурик начал вклиниваться и разнимать их, мама уже сказала

слабым голосом «Шурик, не мешай», и продолжала в том же духе.

И, конечно, они тут же стали сетовать на судьбу и стенать по поводу предстоящей разлуки, причем насчет папы выяснилось, что на нем теперь висят алименты, до совершеннолетия, миллионы какие-то, и требовалось еще разрешение от девицы, которое она вполне могла и не дать — да и с какой стати ей было давать, спрашивается? И папа, бодрящийся перед мамой, говорящей решительно «ничего, ничего, что-нибудь придумаем» — на самом деле леденел от страха и поминутно сплевывал набегающую слюну, думая, что если эта сука не даст ему разрешения, он ее пришьет на месте, просто будет душить, пока она не подпишет, и все.

И мама, своими руками заставившая папу узаконить отцовство, все считала эти проклятые алименты, перемножала и делила — при полной путанице в голове насчет детей, этических принципов и вообще, что такое хорошо и что такое плохо. Она только знала, что хочет быть вместе с папой — а там пусть хоть каждый год ребеночка в подоле приносит, как-нибудь разберутся.

И она говорила ему по ночам «я чувствую, что больше тебя не увижу», а он отвечал «глупенькая» и всякое такое — но когда ей скоро дали разрешение (склонность к самиздату только помогла в данном случае) и из дома в великой суматохе стали вывозить мебель, выдирать книжные шкафы, разорять гнездо, обнажая старые обои, старые язвы—папа, который бегал и командовал, с трясущимися руками, стараясь не представлять себе, что будет, когда они окончательно выметутся, тоже стал останавливать маму по разным разодранным углам и целовать свирепо, глядя на нее отчаянно.

И в последний вечер, когда дом представлял собой кавардак из чемоданов и ящиков, и Ревекка Ефремовна, истомленная, пошла спать в спальном мешке на полу, Шурик решил сделать родителям, сидящим на двух чемоданах, заключительный московский доклад, и стоя перед перед ними за ящиком, как за трибуной, начал было совершенно замечательно «Мои дорогие друзья по автомобильному делу!» — как вдруг папа с мамой заплакали, одновременно, и сорвали, бессовестные, все заседание.

Так что до самого конца только Шурик и сохранил деловитость и трезвую голову, и даже в аэропорту, сидя в очереди на досмотр, умудрился написать коллективное письмо в защиту права евреев на вывоз оборудования, каковое и вручил папе. И когда, прощаясь, папа стал целовать его, говоря «Ну ты, брат, того... не забывай меня...» — Шурик тоже целовал его, как мог, но без особого горя, и усомнился только в самый, самый последний момент, когда вдруг выяснилось, что в Израиле нет цирка. «Не может быть, — прошептал он, испугавшись, — что это за страна, в которой цирка нету!» — но тут же придумал такой замечательный проект, с такими огромными цветными куполами, что аж сам закачался — и с облегчением прошел с бабушкой за перегородку, не обращая внимания на папу с мамой, вцепившихся друг в друга в последнем объятии, зная, что сейчас в первый раз в жизни полетит на самолете, и что вся автобаза будет с ним там, на пути в Эйлат.



## ЛЕВ МАК

Родился в 1939 году в Одессе. Окончил два ВУЗа: Политехнический институт, а через несколько лет — Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров. Последние годы работал на различных студиях Союза как сценарист и режиссер. Репатрировался в Израиль в феврале сего года. В настоящее время готовлюсь к съемкам своего первого фильма в Израиле и заканчиваю учебу в ульпане.

К стихам отношусь серьезнее, чем к чему бы то ни было. Хочу верить, что для истинной поэзии нет глубокой причины избирать или предпочитать тот или иной язык. Пишут стихи, слава Богу, не только для публики и не только из тщеславия. Жаль, что многие выпрагуются из нашей лямки, чуть заметив, что конец веревки уходит в облака — ведь хотя результат усилий наших чаще всего невидим, он всегда реален.

Сейчас главная проблема для меня — не перевод моей русской поэзии на другие языки, не публикации, не издание книг — а продолжение творчества на моем родном языке, здесь, на моей новой Родине.

2 июня 1974 г.  
Лев Мак.

## ПЕСЕНКА О «МИШУГЕ» ЛЕВКЕ

Памяти погибших при поджоге  
синагоги в Малаховке, 1959 г.

«Мишуге» Левка  
Субботней ночью  
Спал на скамейке  
У синагоги,  
Еврейским счастьем  
Укрыты ноги,  
Ислевший талес  
Под головою.  
«Мишуге» Левка  
Субботней ночью  
На твердой лавке  
У синагоги  
Сонет и хнычет  
Скрипит зубами:  
Во сне субботнем  
Он встретил Бога.

Был Бог, как ребе,  
Но чуть потолще  
Такой же мудрый,  
Но чуть добрее —  
Он раскрывает седые веки  
И зажигает  
Глаза, как свечи.  
Бог видит Левку,  
И Бог взволнован.  
Под взглядом Бога  
Пылают камни:  
Рукой горящей  
Бог гладит Левку,  
И пахнут пальцы его  
Бензином...

-- Ах, что он сделал,  
«Мишуге» Левка!  
Зачем он выпил  
В субботу водки?  
Зачем уснул он  
У синагоги?  
Зачем не видел,  
Как десять гоев  
Толкнули в пламя  
Седого ребе!...



Плачут евреи,  
 Целуют камни.  
 Пепел и кости,  
 И свитки торы  
 Кропят слезами,  
 Взывают к мести  
 В «мишуге» Левку  
 Швыряют пылью...  
 Но что он хочет,  
 Безумный Левка?  
 Евреи плачут,  
 А он смеется,  
 Ест черствый бублик,  
 Пьет кружку пива  
 И роет яму  
 В золе и прахе.

Зубы ребе,  
 Лохмотья Торы, —  
 Все, что осталось  
 От синагоги,  
 «Мишуге» Левка  
 Зарыл, как зерна,  
 В черную землю  
 На пепелище.  
 Плачьте, евреи,  
 В Левкину лейку —  
 Слезы врачуют  
 Еврейские раны,  
 Слезы сдвигают  
 Еврейские камни.  
 Был синагога —  
 Нет синагоги,  
 Может быть, снова  
 Быть синагоге?!

«Мишуге» Левка  
 Стоит над ямой,  
 Левкина лейка  
 Над ямой плачет.  
 Где ты, наш ребе,  
 Где ты, наш строгий!  
 Почему ты не крикнешь  
 Нашему Богу?...  
 День поливает  
 И ночь поливает.  
 А на равсеге,  
 Храм прорастает!  
 Грязь распахнулась,  
 Как женское лоно,  
 Черную глину  
 Оплел виноградник.  
 Белые стены  
 Растут над ямой.  
 Золото крыши  
 На них упало.

Плачут евреи,  
 Целуют камни,  
 Безумного Левку  
 Кормят хвалою.  
 А кто не поверил  
 Этому чуду,  
 Тому не увидеть  
 Иерусалима!

## АЛЕКСАНДР РАДОВСКИЙ



### СКАЗКА ПРО ВОЛКА

Было время, когда Волк никого не ел. Питался он грибами, ягодами и орехами. Все лето он трудился — делал запасы, зато зимой отдыхал: прогуливался по лесу и любовался природой.

Однажды, в конце лета, Волк поeyerстал на опушке леса Незнакомца.

— Здравствуйте! — сказал вежливый от природы Волк.

— Здорово! — ответил Незнакомец.

— Меня зовут Волк. Я здесь живу.

— А я Пастух, — сказал Незнакомец.

— Очень приятно. Как вам нравится наш лес?

— Да ничего вроде. Хочу вот дудочку сделать, да не могу иву найти.

— Пойдемте, я вам покажу. Ива над ручьем растет.

Волк привел Пастуха к ручью, Пастух достал ножик с костяной ручкой, вырезал дудочку и заиграл.

— У вас, пожалуй, есть способности. (Волк водил дружбу с птицами и тонко разбирался в музыке). Хотите, я вас познакомлю с соловьем? Прекрасный педагог, уверяю вас!

— На кой ляд, — небрежно бросил Пастух и спрятал дудочку. Было бы слышать, да и ладно.

— Не смею настаивать, — сказал деликатный Волк. — Не окажете ли вы мне честь отобедать со мной?

— Это можно, — ответил Пастух. — Отобедать — это не мешает.

Волк привел гостя к себе и выставил на стол угощение.

— Чувствуйте себя, как дома. Для начала рекомендую малину.

Чистые витамины.

Пастух попробовал.

— Ничего, есть можно. Где достал?

— Если хотите, покажу. Вот черника — тоже прекрасная ягода. Грибочки, соленькие и в маринаде. Не стесняйтесь, прошу вас!

Пастуху все было в новинку. Каждое блюдо он пробовал с опаской, но потом входил во вкус и просил добавки. Что же касается грибочков, то они ему понравились больше всего, и он решил, что это — хорошая закуска под водку.

Напоследок Волк выставил на стол орехи и дикие яблоки.

— Да, — сказал гость. — Живешь ты, конечно, неплохо. Худого слова не скажу. И жратва ничего. Но не калорийная.

— Чем богаты, тем и рады, — забеспокоился Волк. — Вы уж не обессудьте.

— Ладно, — сказал Пастух, поднимаясь. — Парень ты вроде ничего. Приходи ко мне, теперь я тебя угощу.

— С удовольствием, — ответил Волк. — Но я не знаю, где вы живете.

— А на лугу, за опушкой. Ты что не бывал там никогда?

— Был однажды. Но там только трава. Нет ни грибов, ни ягод.

И орехов нет.

— Вот там я и пасу свое стадо.

— Какое стадо?

— Да так. Овцы да бараны. Не то, чтобы много, но несколько сот есть. Так, что грех жаловаться. В общем, приходи. Посидим, потолкуем, — сказал Пастух, поднимаясь.

Волк проводил Пастуха до опушки леса и по дороге показал ему, как пройти в малинник. На том и расстались.

На следующий день Волк отправился в гости к новому знакомому.

— Здорово, — сказал Пастух, — как жизнь? Заходи, не стесняйся.

— Спасибо. В этом году малина уродилась. А грибов, наверное, будет мало, — степенно сказал Волк.

— Почему?

— Грибы дождь любят. А осень, лягушки говорят, будет сухая.

— Ладно, — сказал Пастух. — Поснедаем.

Он поставил перед Волком тарелку. Пища была странная. Формой она не была похожа ни на гриб, ни на яблоко. Но пахло довольно приятно.

— Где это растет? — спросил Волк.

— Не растет, а бегаёт.

— А где бегаёт?

— На лугу.

Волк не понял ничего, но постеснялся спрашивать. Незнакомая пища показалась ему вкусной, он съел все без остатка и поблагодарил хозяина.

— Давай, еще положу.

— Спасибо, я совершенно сыт, — сказал Волк, и это было правдой.

— А что это была за пицца? — решился он, наконец, спросить.

— Мясо.

— А где вы его достаете?

— Сейчас покажу.

Пастух вынул дудочку и заиграл. Некрасиво, но громко. И со всех сторон к нему побежали какие-то странные курчавые животные, которых в лесу Волк ни разу не встречал.

— Вот мое стадо, — сказал Пастух. — Иди-ка сюда, баран. От стада отделилось одно животное и подошло к пастуху, глядя на него круглыми бараньими глазами. Пастух громко щелкнул барана по лбу.

— Ну что уставился, дурак рогатый? Пшел обратно!

Баран сказал: «Бе-е-е» и вернулся на место.

— А овца вот, — и Пастух поманил пальцем. Вперед вышло другое животное, без рогов.

— Иди ближе, дура, — сказал Пастух, взял овцу за шиворот и подвел к Волку.

— От вас очень приятно пахнет, — сказал Волк Овце. — Рад с вами познакомиться.

Ему было неловко от грубости Пастуха, и ему хотелось сделать комплимент. Впрочем, это был не комплимент. От Овцы действительно хорошо пахло. И от Барана тоже.

— Ме-е-е — ответила Овца.

— Пшла на место, — приказал Пастух.

— А где же вы берете мясо? — спросил Волк.

— Сейчас увидишь.

Пастух вынул свой красивый ножик с костяной ручкой, поднял камень и стал править лезвие. Стадо сбилось в кучу, и каждый баран, и каждая овца старались забраться в середину.

— А ну тише вы, скоты! Расшумелись!

Стадо покорно замерло. «Вжиг-вжиг», — говорил ножик камню. «Вжик-вжик», — говорил камень ножичку. Волк смотрел внимательно, но мясо не появлялось.

— Ну вот, — сказал Пастух, — готово. Можно действовать.

Он потрогал лезвие пальцем и, видимо, остался доволен.

«Ме-е-е», — жалобно запричитали овцы.

«Бе-е-е», — жалобно ответили бараны.

Пастух выбрал овцу и вывел ее из стада.

«Бе-е-е!» — с облегчением сказали бараны.

«Ме-е-е!» — радостно повторили овцы.

Волк смотрел во все глаза, но мясо не появлялось. Пастух зажал овцу между колен и поднял ей голову.

— Гляди, — сказал он Волку.

— Гляжу, — сказал Волк.

«Овце, наверно, больно», — хотел он добавить, но не успел. Пастух подбросил свой красивый ножик, ловко поймал его за костяную

ручку и коротким движением перерезал овце горло. Фонтаном хлынула кровь и забрызгала Волка.

— Вот паразитка, — разозлился на овцу Пастух. Он ударил ее в живот и повернул так, чтобы кровь не попадала на Волка. Струя, описав дугу, ударила в стадо, и на белых овечьих и бараньих шкурах заалели красные пятна. Это было даже красиво, но Волку было не до красоты. Расширенными от ужаса глазами он смотрел на то, что делает Пастух. А Пастух тем временем снимал с овцы шкуру. Наконец, он снял ее и повесил на колья.

— Пусть сушится, — объяснил он Волку.

Ободранная овца была совсем непохожа на живую, она была похожа на...

— Ну понял, откуда берется мясо? — спросил, посмеиваясь Пастух и похлопал Волка по спине.

— А вы чего здесь не видели? — напустился он на стадо. — А ну, марш питаться! Конец лета, а жиру на два пальца и то нет! Он пнул ногой ободранную овцу. Стадо затрусил на луг.

— Ну, чего ты на меня уставился? — спросил Пастух.

— Вы очень жестоко поступили с этой несчастной овцой. Она совершила какой-нибудь ужасный проступок?

Пастух расхохотался.

— «Проступок!», ну и сказанул! Какой там у овцы проступок? Овца, брат, она и есть овца. Уморил ты меня, ей-богу!

— Так зачем же вы ее лишили жизни?

— Да ведь ты сам хотел поглядеть, откуда берется мясо. Ел ведь да похваливал!

— Это правда, — прошептал Волк. Он действительно с наслаждением ел это вкусное сытное мясо.

— Скоты они и есть скоты, — убеждал Пастух. — Низшие существа. Чего с ними церемониться? Рраз — и готово! Они для того и созданы.

— Но... но почему они так покорны? — спросил Волк. — Почему они не убежали?

Пастух снова рассмеялся.

— Простая вещь, а объяснить трудно... они щиплют траву на лугу. Был на лугу? Траву видел?

— Видел.

— Они ее щиплют под моим руководством.

— А сами они щипать не могут? Без руководства?

— Могут, конечно, — сказал Пастух, — но они этого не знают. А ты им не скажешь, правда? (Он хлопнул Волка по спине и подмигнул ему). А впрочем, черт с тобой, можешь и говорить. Они все равно не поверят. Вот у баранов какие рога — видал?

— Видал, — сказал Волк. — Конечно, видал.

— Такими рогами он мог бы меня насквозь пропороть.

«Почему же он этого не делает?» — хотел спросить Волк, но постеснялся.

— Но он не знает. А скажи ему — не поверит. Вот я тебе и говорю: скоты — они скоты и есть. И жизнь их скотская.

С тяжелым сердцем Волк возвращался домой. Незнакомые неприятные мысли обгоняли одна другую. Волк был рассеян, не поздоровался с Белкой и чуть-чуть не наступил на Ежа.

— Другого места не мог найти, — недовольно сказал Волк удивленному Ежу, — разлегся. — И не прощаясь, побежал дальше.

«Как покорно эти твари ждали смерти», — думал потрясенный Волк. Впрочем, я не должен называть эти существа тварями. Это нехорошо. И не гуманно. Но как они обрадовались, когда Пастух выбрал жертву, — обрадовались за свою шкуру. Как можно их после этого уважать? И Пастух, пожалуй, не так уж, в сущности, жесток. Овцы не ценят свободы, даже не понимают, что это такое. Достойны ли они жизни?... Нехорошо. Негуманно (укорил он себя снова). Жить всякий хочет. Но всякий ли достоин жизни? Вот в чем вопрос. Конечно, Пастуха не назовешь деликатным! Мягкосердечия в нем нет. И в музыке он не разбирается. Но в нем есть напор. Жизненная сила. По отношению к овцам он ведет себя, пожалуй, слишком жестко. Это крайности. Но тем, очевидно, нравится такой порядок. Иначе они не стали бы с ним мириться.

— Добрый вечер, Волк! — услышал он дружеский голос.

— Здравствуй, Соловей,

— Приходи вечером ко мне на концерт. Сегодня дебют моих младших.

Только не забудь почиститься. — Сказал Соловей и упорхнул.

Волк осмотрел себя и увидел на своей шкуре пятна крови. «Знает, меня все видели в крови!» — ужаснулся Волк. «Что же мне сказать, если спросят откуда пятна?»

До ручья было далеко. Волк боялся, что повстречает еще кого-нибудь из знакомых, и стал слизывать пятна языком. Пятна оказались ужасно вкусными. Вкуснее, чем мясо. Мелькнуло даже сожаление, что пятен мало, но Волк подавил его в себе, как негуманное.

Дома он никак не мог приняться за работу. Не было настроения. «Что есть жизнь?» — философски рассуждал Волк. — «Сон! Рождение, живем и умираем. Все умирают. Не только эти дуры-овцы и кретины-бараны. И Пастух умрет. От этого никуда не денешься. Так в сущности, не все ли равно? Умереть раньше, как овца, или позже, как Пастух — конец один». Такие глубокие мысли не приходили ему в голову раньше, и он с благодарностью подумал о Пастухе. «Если бы не он, я бы так и не дошел до всего этого своим умом. Ему, наверное, такие мысли пришли давно», — с некоторой завистью подумал Волк. — «Чтобы иметь право лишать жизни, надо понять философскую сущность смерти». — И Волк почувствовал досаду, что неотесанный пастух, ничего не смыслящий в искусстве, добрался до глубины философии раньше, чем он.

Начало смеркаться. Листья и деревья теряли цвет. Тени растворялись в темноте. Дневные птицы громко обсуждали итоги дня.

— Эй вы там, потише! — крикнул Волк. Этот базарный шум мешал ему сосредоточиться. «Да, в искусстве он, Пастух, конечно, не разбирается. Но разве знание жизни не выше искусства? Если искус-

ство не способствует главному — зачем оно?»

Эта мысль была кощунственна и в то же время головокружительно смела. У Волка перехватило дыхание. «Интеллектуальное мужество — высшее мужество», — с гордостью подумал он. «И так ли он не разбирается в искусстве, как мне кажется? Может быть это именно кажется? Иначе он не сделал бы дудочку. Его искусство служит важной задаче — собрать стадо. А Соловей? К чему его пение? Разве оно помогает собирать орехи? Или находить ягоды? Куда оно ведет? Никуда. Искусство без цели. Искусство для искусства... Да, Пастух совсем не примитив, как мне показалось с первого раза... Как хорошо, что мы подружались. А вдруг он подумал, что я мямля? Слюнтяй? Распустил нюни из-за какой-то паршивой овцы!». Эта мысль невыносима. Чтобы придать себе мужественности в собственных глазах, Волк лязгнул зубами. Получилось неплохо. Он лязгнул еще раз. Вроде лучше. Волк тренировался перед зеркалом, пока лязганье стало достаточно внушительным.

— Волк, ты дома? — раздался у дверей голос Зайца.

— Что тебе? — недовольно сказал Волк. — Чего надо?

— Да нет, ничего, — Заяц оторопело смотрел на Волка. Просто сегодня дебют молодых Соловьев. Самый младший, говорят, необыкновенно одаренный. Вот я и подумал, что...

— Подумал! Мыслитель нашелся. Вечно ты суешься не в свое дело. Захочу — без тебя дорогу найду.

— Прости, — сказал Заяц. Он был задет, но счел ниже своего достоинства отвечать в том же тоне. — Я пошел.

На следующее утро Волк завтракал, как обычно. Малина оказалась ему невкусной («дрянь какая-то, а не малина»), и он принялся за орехи. Каждый орех надо было чистить отдельно. Или расколешь скорлупу — а ядра нет. Или гнилое. «Вкус у них какой-то дурацкий. Удивляюсь еще, что Пастух ел и не плевался. Из вежливости, наверное. Некалорийно я питаюсь», — с горечью думал он. — «Некалорийно». Волк вылизал еще раз те места на шкуре, куда попала вчера овечья кровь. Но от вкусной крови остался только запах. Запах этот не давал ему покоя.

Пора было приниматься за работу: ягоды стояли последние дни, да и запас орехов был недостаточен. Но работать не было настроения.

Тень от большой березы не дошла еще до молодой елочки, как Волк решил, что пора обедать. Он захватил с собой банку соленых грибов и отправился в гости.

— А, это ты, — сказал Пастух. — Ну что ж, заходи.

— Я вам грибочков принес. Солененьких.

— Грибочков? — оживился Пастух, — это ты молодец. Хорошо догадался. Сейчас поснедаем.

Пастух вынул дудочку и заиграл. Сбежалось стадо.

— Ну, кого резать будем? — спросил у Волка Пастух. — Выбери-рай.

Волк хотел выбрать барана, он крупнее овцы, но не решился: уж очень внушительно выглядели у барана рога. Он выбрал овцу поболь-

ше и вывел ее из стада. Пахло от овцы умопомрачительно, и шерсть ее приятно щекотала небо, когда он держал ее за шиворот.

— Ну че? Бери нож да приступай. Приучайся! — Пастух рассмеялся.

— Бе-е-е, — заулыбались бараны.

— Ме-е-е, — радостно поддержали овцы.

Волк не умел обращаться с ножом. До сих пор он прекрасно обходился зубами. Зубы у него были острые и твердые, любой орех раскусывали. А скорлупа куда тверже овечьей шкуры...

— Я и так справлюсь, — храбро сказал Волк и перекусил овце горло. Как вкусна была свежая кровь! Не сравнить с запекшейся. Волк пил и не мог напиться. Он подставлял под струю бока и грудь, чтобы вечером дома, было что лизать.

Пастух отрезал ему большой кусок мяса. Волк съел и почувствовал, что сыт. Но он подумал, что вечером у него мяса не будет и попросил добавки. Пастух отрезал еще.

Волк жалел, что у него такой неместительный желудок, и злился на себя за то, что утром ел малину и орехи и теперь нехватает места для мяса. Он съел все, а кость разгрыз и добыл из нее мозг.

— Уф, — сказал он, — наелся. Бока у него раздулись, как у беременной Лосихи. Тело стало тяжелым, и ногам было трудно его держать.

Я к тебе зайду в воскресенье, — сказал на прощанье Пастух, и Волк отправился домой.

От крови он опьянел. В голове шумело. Волк шел, не разбирая дороги, не замечая никого вокруг. Звери смотрели ему вслед и качали головами.

Дома Волк вылизал со шкуры пятна крови и лег спать. Он проснулся в отличном настроении, сразу же вспомнил вчерашний обед и почувствовал гордость оттого, что показал себя молодцом. «Как ловко я перекусил ей горло! Даже баранам понравилось», — с удовлетворением думал Волк. — «Она умерла мгновенно. Это в тысячу раз гуманнее, чем естественная смерть от дряхлости. По крайней мере бедняжка не мучилась».

И вдруг он вспомнил, что в воскресенье придет Пастух. Хорошее настроение улетучилось. «Чем же я буду его кормить?» — сверлила голову неотвязная мысль, — «Этой слащавой малиной? Ему нравятся соленые грибы. Но разве грибы могут сравниться с мясом? Что же делать? Я пропал. Пастух не захочет со мной дружить. Конечно, бедность не порок, но как ужасно, как унизительно быть бедным!». До воскресенья оставалось два дня. Тяжелые мысли не покидали Волка ни на минуту.

Наступило воскресенье, а ничего путного Волк так и не придумал. «Я опозорен!», — думал он.

В таком настроении его застал Заяц.

— Я пришел с тобой поговорить, — сурово сказал Заяц.

— Ах, оставь меня в покое!

Но Заяц не ушел.



— Мы были друзьями, Волк, и я хочу, чтобы ты меня выслушал.

— Мы и сейчас друзья! — раздраженно воскликнул Волк, — но я не желаю...

— Ты странно ведешь себя, Волк. Я, разумеется, не верю слухам, которые распускают Сороки, потому что я твой друг и знаю тебя давно, но...

— Каким слухам? — прорычал Волк. «Что надо этому дураку, — раздраженно думал Волк, — чего он привязался?».

— ... Но ты должен объяснить друзьям свое поведение.

— Какие слухи?! Я еще раз спрашиваю, черт побори!

— Что ты участвовал в убийстве! — твердо сказал Заяц.

Волк сник.

— Ты не понимаешь, это не убийство. Так лучше для всех: и для меня, она...

— Значит, это правда? Мне жаль, что я был другом убийцы. Ты негодяй. Я скажу тебе всю правду, ты...

Но сказать всю правду Заяц не успел. Волк ударил его по голове, и Заяц упал замертво.

— Заяц! — перепугался Волк. — Заяц, ты слышишь меня? Я нечаянно! Я погорячился. Заинька, прости меня! Ну вставай, Заинька!

Но Заяц был мертв.

«Я негодяй, — думал Волк. — Убийца друга. Мне нет прощенья».

Он вспомнил, сколько раз помогал ему Заяц делом или советом, как выручал он его в трудную минуту, каким бескорыстным и честным другом был покойный. «Что делать? — тоскливо думал Волк. — Вдруг узнают? Вот-вот придет Пастух. Надо спрятать труп. Но куда?»

— Здорово, Волк! — сказал Пастух. — Как живешь? У тебя, гляжу, и угощение готово. (Он наклонился к Заяцу и потрогал его). Еще тепленький. Кто это?

— Заяц, — помертвев от ужаса, прошептал Волк.

— Ну что ж, заяц так заяц. Ни разу, признаться, не едал зайцев.

Пастух достал ножик с красивой костяной ручкой и снял с Заяца шкуру.

— Ну что, поснедаем, что ли? Че ты сегодня вроде какой-то смурной?

— Нет, ничего, — быстро ответил Волк, — ничего страшного.

Половину Заяца Пастух взял себе, половину протянул Волку.

— Ну садись, что ли. Я голодный.

Глядя на него расширенными от ужаса глазами, Волк сел за стол. Он машинально обгладывал заячьи косточки и постепенно до его сознания стал доходить вкус заячьего мяса. «Даже здесь он оказался на высоте, мой дорогой, мой бедный друг! — элегически думал Волк. — Скромный и честный, он даже не подозревал, какое вкусное у него мясо».

— А заяц-то был хорош! — похвалил Пастух, утирая губы.

— Золотой души был Заяц, — подтвердил Волк.

— Я так думаю, он под водку хорош, — предположил Пастух.

— Может быть, может быть, — с глубокой грустью сказал Волк. — На него можно было положиться во всем. Я знал его, Го-рацио.

— Чего? — подозрительно спросил Пастух.

— Это были его любимые строки. Бедный Заяц!

— Ну ладно, я пошел. Ты сегодня вроде чокнутый какой-то. Пока! Захаживай, — сказал Пастух и ушел.

Волк остался один. Выйти он боялся. «Что я скажу другим? Как объяснить смерть Зайца? Все будут показывать на меня пальцем и кричать: «Убийца!». Сомнений тут быть не может. Мною будут пугать детей. Ужасно!

И зачем только он пришел сегодня, этот Заяц! Кто его просил? Сидел бы дома, и никто бы его пальцем не тронул. Так нет, надо было сунуться. Вечно он совался не в свое дело. А кто кору с дикой яблони объел в позапрошлом году? На это они, небось, внимания не обратили, — с раздражением и обидой на зверей думал Волк. — Об этом они не вспоминают. «О мертвом хорошо или ничего». А почему, собственно? Если он ободрал кору, почему я должен молчать?».

Прошло два дня и Волк отправился в гости. Он решил серьезно поговорить с Пастухом и очень волновался. «Но ведь мы друзья, — успокаивал он себя. Пастух с радостью пойдет навстречу своему другу. Он человек простой и прямой».

— Послушай, Пастух, — начал Волк, когда обед подходил к концу, — а где ты раздобыл своих овец?

— Они мне достались от отца.

— А он?

— А ему от деда.

— А дед?

— Нашел их на лугу.

— На этом?

— Нет, за рекой. Но там луг хуже.

— Что он им сказал?

— Ну, он им сказал, что будет их пасти и защищать, а за это они должны быть ему преданы душой и телом.

— От кого защищать? — не унимался Волк.

— Ну мало ли...

— И они согласились?

— Согласились. Нет, в общем-то несколько баранов не согласи-лись, но дед их съел. А остальные согласились.

— А есть еще овцы, которых никто не пасет? Которые щиплют траву без руководства?

— Раньше были, а теперь нет. Я, по крайней мере, не встречал. А чего ты так этим заинтересовался? А? — Пастух хлопнул Волка по спине, — интересно!

Это приободрило Волка.

— Дай мне, пожалуйста, часть твоих овец, Пастух, а? Я тоже

хочу ими руководить. Я сумею, вот увидишь.

— Чего же тут не сумеешь? Это всякий дурак сумеет, — сказал Пастух.

— Так ты дашь? — обрадовался Волк.

— Почему же это я обязан тебе давать? С какой стати?

— Но ведь мы друзья, — удрученно сказал Волк.

— «Друзья!». Ишь ты какой хитрый! Ну и что? Я, значит, должен тебе свое кровное отдавать?

— Но ведь у тебя много, а у меня.. Ну пожалуйста! Я тебя очень прошу, — взмолился Волк.

— А ты не проси. Овцы ко мне привыкли. Они меня любят. Уважают. Что я подлец, что ли, отдавать их в чужие руки?

— Эх ты, — с обидой сказал Волк. — Друг называется!

— Не нравится, так можешь проваливать. Плакать не будем. Пшел отсюда, сволочь серая! — разозлился Пастух. — Голь перекатная!

Началась ужасная жизнь. Звери с ним не здоровались, с Пастухом он рассорился. Запасов ягод и орехов было явно недостаточно, а грибов уродилось мало. Да и разонравилась ему такая еда. Ему мяса хотелось, а мяса не было. Мясо снилось ему по ночам. Тысячи овец щипали траву под его руководством. Он перекусывал им горло, выпивал кровь, а потом обедал. И просыпался голодный.

Обида на Пастуха требовала отмщения, но Волк не мог ничего придумать. «Отомстить, — думал он, — но как?» — Съесть у него овцу! — подсказывал внутренний голос. «Нельзя брать чужое, это нехорошо. А почему, собственно? У этого негодяя их много, а у меня ни одной, он сыт, а я голоден. И потом — надо же его, в конце концов, наказать! Это будет только справедливо».

Поздно вечером он подобрался к стаду и зарезал овцу. Через два дня еще одну. Прошло недели три, пока Пастух заметил убыль в стаде. — Вот паразит, — жаловался знакомым Пастух. — Пригрел змею на своей груди. Кормил его, сволочь серую, поил.. Как волка ни корми, он все в лес смотрит!

Пришлось Пастуху завести Пса. Пес служил предано, но Пастух не любил его: он ужасно походил на Волка. — Гляди, — говорил Пастух, — одна овца пропадет — убью как собаку!

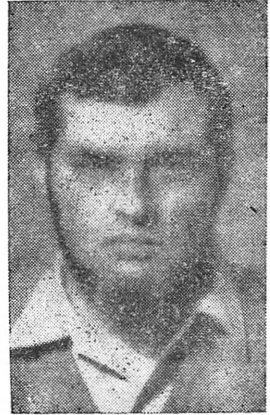
Пес из кожи лез, куска не доедал, ночей не досыпал — стерег стадо!

Худо стало Волку. Принялся он убивать лесных зверей и птиц. «Я не виноват, — думал он, обгладывая косточки бывших друзей. Жизнь виновата. Тяжелые условия действительности. Попробовали бы они на моем месте — взвыли бы!».

Звери старались не попадаться ему на глаза. Добывать пропитание становилось все трудней. Но уж когда он, обманув Пса, прорывался к стаду, то уж одной овцой не отделялся! Резал их десятками!

Пастуха он ненавидел.

## ЭРНСТ ЛЕВИН



Родился в Минске сорок лет назад. Начиная с малосознательного возраста, писал стихи, но, следуя советам практичных родственников, окончил энегергофак. Стихов за студенческие и последующие годы написал многие километры, причем, как водится у большинства хмурых людей, в основном налегал на веселый жанр: пародии, эпиграммы, юморески, фельетоны и проч. Посему интенсивно использовался в молодежной сатирической печати, студенческой эстраде, КВН и ансамбльном песенном творчестве полуцензурного характера. «Для себя» занимался переводами из Тувима и чуть-чуть из Шекспира, изредка лирикой и пряными словотворческими упражнениями.

К выводу, «что из ада ли, из рая ль — все пути ведут в Израиль», я пришел довольно поздно (в 1967 г.), но твердо. Мой собственный путь на Родину был трудным, долгим и напряженно-длительным. Только в конце 1972, пройдя весь комплекс отчаянных поступков и проводив многие сотни своих соратников и «крестников», да и то лишь благодаря активнейшей поддержке из-за рубежа, я вырвал в конце концов, разрешение на выезд...

В таможене пришлось подписать протокол об изъятии у меня тетрадей «со стихами антихудожественного содержания». Утешаюсь тем, что форму, по-видимому, сочли вполне художественной...

12 мая 1974 г. Холон.

## ЧИТАЯ ТОРУ

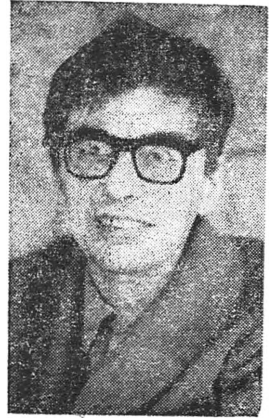
«И оглянулась жена его и стала  
соляным столпом»...

(Бытие XIX, 26)

Не оглядывайся, Лот!  
Торопись — беда идет.  
Не жалея свои оливы,  
Не гляди на милый дом:  
В хамстве пьяном и кичливом  
Позади лежит Содом.  
Тяжким будет твой уход —  
Не оглядывайся, Лот:  
Не услышишь сожаленья,  
Не увидишь добрых слез —  
Будут выкрики презренья,  
Хор бессмысленных угроз;  
Помолись о бедных братьях,  
Пораженных слепотой:  
Меч Господнего проклятья  
Поднят в ярости святой!  
Утро грозное встает —  
Не оглядывайся, Лот.  
На рассвете грянут громы,  
Раскаленный рухнет град,  
Встанет пламя над Содомом,  
Заклубится серный смрад, —  
Страшен будет твой уход —  
Не оглядывайся Лот!

. . . . .  
Впереди — пустынный ветер,  
Ширь небес, земная твердь..  
Пред тобою — путь столетий,  
За тобою — только смерть.

## ГЕНРИХ СОКОЛИК



### О ПОЭТАХ

**В сем христианнейшем из миров  
Поэты — жидаы.**

**М. ЦВЕТАЕВА**

Добрый король Казимир был так доволен искусными и трудолюбивыми иудеями, обогатившими его королевство, что издал указ, даровавший шляхетство тем евреям, которые согласятся принять Закон Христов.

Вскоре к королю явилась делегация сейма.

— Мы спрашивали новых шляхтичей, — сказали они, — об их предках, однако, вместо старинных хроник, все они ссылаются на Ветхий Завет. Но в Святых Книгах нет их имен, там сказано только о Боге и Пророках.

— Воистину так, — сказал Архиепископ, стоящий у трона, — Ведь Священное Писание — это и есть Хроника Божьего Народа. А посему только Всевышний может пожаловать им Рыцарское достоинство.

## ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

Даже Святого Франциска коснулись козни ада. Знал Лукавый, что недоступен Святой искушениям плоти, и поэтому показал Святому, как дочь его нерожденная идет в сиянии своей невинности к Первому Причастию.

И впервые пожалел сын Пьетро Барнардоне о часе, когда обручился с Безбрачием. И дабы отошел сей искусительный призрак, слепил он снежную деву и прижал ее к сердцу.

— Отныне ты будешь моею дочерью, — молвил Святой Франциск.

И, о чудо, снежная дева ожила и улыбнулась!

— Сколь велико коварство врага рода человеческого, — воскликнул Святой. — Он оживил мое греховное видение.

— Нет, сын Пьетро Барнардоне, — ответил Сатана, — это ты сам. Я умервляю живое, но только святость дает жизнь.

## О ПОБЕДИТЕЛЯХ

— Почему о Боже, возвеличил ты Иакова? — спросил Сатана. — Ты дал ему имя Израиль в знак того, что бился он с Тобой и превозмог. Ведь и я бился с тобой до начала времен, и весы склонялись в мою сторону.

— Но твои желания были так умеренны, — ответил Господь. — Ты покусился только на мое Царство. Иаков же пожелал большего. Он сказал ангелу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И впредь да будет так. Твоим ученикам искать только Царства, а потомству Израиля — Моего Благословения.

## ГЕРШОН ЛЮКСЕМБУРГ



Родился я 29 лет назад в Киргизской ССР. В 1968 году закончил филологический факультет Ташкентского университета. Работал журналистом в Ташкенте. На Родину прибыл полтора года назад.

С 1 октября — солдат израильской армии. Ранен в войне на истощение на сирийском фронте.

Никогда не считал себя хорошим спортсменом, однако в Израиле, совсем неожиданно для себя, стал победителем международных встреч по боксу и, даже, обладателем Золотой медали девятой Маккабиады.

Относительно триумфатора — Израиля, русского языка и моих будущих стихов — для меня все решил один случай. Я имею ввиду тот день, когда показал журнал со своими стихами друзьям по боевой части. Это было после жуткой бомбежки. Мы сидели в танке, спасаясь от осколков. Настроение у всех было скверное. К тому же сидели голодные с утра. Тут-то меня и угораздило похвастаться перед ребятами своими русскими стихами.

Как и следовало ожидать, это китайская грамота не вызвала у них никакого восторга, никакого сочувствия к моим ситхам. Кто-то попросил меня перевести на иврит написанное... Я начал было переводить, но, чувствуя, что несу ахинею, вырвал журнал у кого-то из рук, разорвал его и выбросил вон из люка.

Всего несколько минут назад мы были друг другу ближе братьев, а тут вдруг возникла стена. Я пересел к себе в кабину и послал всех к черту, кто пытался меня утешить. А где-то через час меня ранило. Того сверхбратского, сверхматеринского отношения, последовавшего вслед за ранением со стороны моего экипажа — не быть мне вовеки.



Было ли ранение знамением свыше — не знаю. Возможно. Знамений на Голанах было множество. Даже та гора деревянных ящиков с минами, на которых во всю ширь на родном русском, на том самом, что и мои стихи, стояло: «НОЖ ВЛОЖЕН». Это и подобное я переводил своим мальчикам без труда и волнения...

Отныне моя жизнь — ожидание. Ожидание того дня, когда появятся мои первые строчки на иврите. А то получается что-то вроде предательства.

Гершон Люксембург.

## ЧУЖИЕ ОБЛАКА

Мне Библия — как часть материка,  
Где мне известен каждый третий житель.  
Я прихожу сюда издалека  
Легенды слушать на родном иврите.

Мне Библия — как часть моей судьбы,  
Где музыка замешана стихами,  
Где прошлое уложено в снопы  
Рабочими надежными руками.

Мне Библия — как часть черновика,  
Планеты незаконченная внешность...  
Зачем считать чужие облака,  
Чужое небо принимать за вечность.

## МОШЕ ЛАНДБУРГ



Я родился в 1938 году в Литве (г. Шауляй). В 1962 окончил факультет русского языка и литературы. Работал в средней школе г. Вильнюса.

Писал новеллы, которые печатались в республиканской печати, передавались по радио. Пишу с 1960 года.

Люблю людей, литературу и тяжелую атлетку.

Был чемпионом Литвы (1969 г.), призер Израиля (1973 г.).

В Израиль прибыл в 1972 году. Живется в Израиле не легко, пишется — легче. Печатался в газетах «Трибуна» и «Наша страна».

Пишу, чувствуя, что так можно приблизиться к людям, которых люблю.

Моше Ландбург.

## ЭХО

Шел шестнадцатый день перемирия, и гильзу артиллерийского снаряда они решили использовать для душа.

Бенци просверлил пять дырочек, а Рубен, утверждавший, что он — лучший плотник Димоны, соорудил виселицу, вздернуть эту самую гильзу.

— Теперь наливай! — Иешуа стоял голый и ждал, когда появятся свежие струйки.

Рубен вскочил на ящик из-под снарядов. Он распоряжался водой и приобрел власть.

— Скребись, скребись, Иешуа, — командовал Рубен.

— Скребись, скребись, Иешуа, — робко, как и положено самому младшему, покрикивал Бенци, боясь, что ему, Бенци, не достанется воды.

— Ну что ты все живот трешь? — возмущался сверху Рубен, — В уши вползай!.. Пальцем!..

Бенци снял ботинки, чтобы потом не терять время на раздевание.

— Теперь, Бенци, влезай на ящик ты, — нарушил очередь Рубен и встал под гильзу.

Бенци был приучен не возражать старшим и послушно взобрался на ящик...

— Ну, как, Рубен, — Иешуа подставил солнцу мокрое тело, — хороши мирные деньки?

— Только дырок мало, — простонал Рубен, — просверлил бы ты, Бенци, еще одну — больше бы струек!

— Еще бы, — буркнул Бенци. Он жалел, что не просверлил поменьше: вода в боченке шла на убыль.

— Да, Иешуа, домой пора, — фыркал Рубен, подставляя лицо струйкам. А ты, Бенци, что думаешь?

— Думаю, что воды мало, — напомнил Бенци.

— Заканчивай, — Иешуа, поторапливая, шлепнул Рубена по мокрой спине...

А потом они подзакусили, и Рубен читал письмо от ученицы из Ашкелона. Она хотела, чтобы все солдаты вернулись домой.

— Хорошая девочка, умница, — определил Иешуа. — У меня вот четыре и все мальчики.

— Теперь, после войны, женюсь, — Рубен достал пачку сигарет. — А ты, Бенци?

— Молодой я еще жениться.

— Воишься? — подмигнул Рубен.

— Чего бояться, просто рано еще.

— Жениться рано, воевать не рано, — Иешуа стал грустным, — Кто знает, что рано, а что поздно.

Бенци улыбнулся и вылез из траншеи. Он сел на мешки с песком, которыми укрепили насыпь, и смотрел на холмы за полосой канала.

— Что ты там делаешь? — спросил Рубен.

— Да ничего. Просто думаю.

— О чем?

— О приятных вещах. О доме. Дома хорошо. — Бенци сладко потянулся и вскрикнул в тишину: — Дома хорошо. Скоро домой!

Со стороны канала раздался выстрел, тело Бенци вздрогнуло и стало сползать в траншею. Иешуа подхватил его, и теперь Бенци лежал с удивленно раскрытыми глазами, а наверху над траншеями, эхо дразнило: «Скоро домой... До-мой... мой... о-о-й...»

# ИОСИФ БЕЙН



\* \* \*

На могилы мои лицемеры  
Набежали со всех сторон,  
И шатается трон моей веры,  
И любви моей рушится трон.  
Был и я откровенен и светел,  
И цвела в моем сердце заря,  
А теперь в голове моей — ветер,  
В голове моей нет царя.  
В моем сердце живут могилы,  
В моем сердце цветет беда.  
Мое сердце — ты — Царским было,  
Было Царским селом всегда.  
Жил я в Пушкине, жил на даче,  
Неудачи не шли мне впрок.  
Убивается небо, плачет —  
У него умирает Бог.  
Убивает вода, убывает —  
От воды можно ждать всего.  
Это время меня убивает,  
Когда я убиваю его.  
По ночам снятся мне химеры,  
По ночам слышен карк ворон,  
И шатается трон моей веры,  
И любви моей рушится трон...

## СОЛНЦЕ НА ПЯТНАХ

«Мне встретился беременный мужчина»

О. Мандельштам

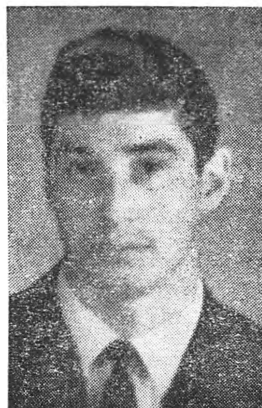
«Мне в постоянстве чудится измена»

Ф. Вийон

Забыты кумиры. Разрушены храмы.  
 Земля вся тоскует о новом Иуде.  
 По-моему, все воспитатели — хамы.  
 По-моему, все осужденные — судьи.  
 Контрасты — извечны. Бетховены — глухи.  
 Столбы, окопавшись, стоят при дороге:  
 По-моему, все добродетели — шлюхи.  
 Все трусы — герои, все грешники — Боги.  
 Меня научил всему этому стронций.  
 Меня облучил, заразил этим атом.  
 Границы условны: не пятна на солнце,  
 А солнце на пятнах — сейчас и когда-то.  
 Как в строчках Вийона, вся верность — в измене,  
 Какой-нибудь Ротшильд беднее, чем нищий.  
 Я знаю, что солнце построили тени,  
 Как тени умерших нас сделали чище...  
 И ночь — это только незримое утро.  
 И стих мой скрывается в уличном шуме.  
 И все, что на свете, действительно, мудро,  
 Так это, по-моему, — только безумье.  
 Безумье в любом твоём взгляде и шаге,  
 Безумье в мечтах и безумье в быту —  
 Свихнувшихся глаз голубые овраги  
 Влюбленному всюду видны за версту.  
 И грешную песню поют облака мне.  
 И я тороплюсь, спотыкаясь о звезды,  
 А в небе — деревья и спелые камни.  
 Весь мир опрокинут. Весь мир неопознан.  
 И пахнут предчувствием праздника тучи,  
 И каркает ворон, и слышится глас:  
 «Чем хуже — тем лучше, чем хуже — тем лучше».  
 Ах, ворон, ты ворону выклоешь глаз.  
 Ложится позором любая награда.  
 В подполье слезы моей прячется смех.  
 И все получается так, как не надо.  
 И черный, как лилия, падает снег...

# МАРК

# АРНЭВЭС



Мне 26 лет, и это моя первая публикация. В Израиле я нахожусь год.

Я жил, учился и работал в сфере русского языка 25 лет. Сны мои на русском, книги тоже, даже машинка знакомой девушки с русским шрифтом.

## СЫН СОЛОМОНА

Этот город Ростов, пыльный и теплый, с горбатыми улицами и кривыми заборами вдоль них, желтыми и оранжевыми особняками был красив. Запах курорта витал над ним.

Мы жили в богатом, чужом, запущенном доме Лейбы Шиммера, фабриканта-табачника, сбежавшего от этой чумы — революции, и нас было одиннадцать человек: мать, тетка Хая, я и восемь моих младших братьев и сестер.

Мы бежали из Мпнска, где нас знали все.

В дороге заболел и умер от тифа отец, лучший кантор России, большой, сутулый человек, с пронзительными узкими глазами и рыжей щетиной на подбородке. На последнюю десятку мать довезла тело до Ростова, там и похоронили.

В тот же день в городе сменилась власть.

Пыльное, предзакатное солнце освещало ловких всадников с

лампасами на могучих ляжках, и я видел страх в заплаканных глазах моей матери.

Мы прятались в бревенчатом дровянике Лейбы, и есть нам было нечего.

Каждый день я выходил из затхлой черноты сарая в слабую яркость раннего солнца и по двум темно-желтым немощным улицам, окаймленным рослой крапивой под щербатыми заборами, бежал на шестиугольник площади, где находилась войсковая пекарня.

Там уже слонялась куча мальчишек и шевелилась груда разномастных лошадей. Я присоединялся к ребятам и тоже заглядывал в повозки, похлопывая лошадей по плоским высоким шеям, мешался под ногами у коноводов.

Площадь эта была вымощена серо-голубым булыжником, по которому рассветный холодный ветер гнал сено, клочки газет, иссохший навоз, обрывки афиш. Так мы слонялись и ждали той минуты, когда в окне на втором этаже, в легком мучном облачке появлялись потные ржущие пекари и одну за другой, под крики — свои и наши — выбрасывали круглые, горячие буханки. Сразу образовывалась свалка, перемещения которой по площади были очень сложны, разнообразны, скоры. Борьба продолжалась даже под животами лошадей, косивших испуганными глазами.

Я был ловок и силен и всегда возвращался с хлебом.

Обратно я шел, прижимаясь к заборам, обжигаясь крапивой, поддерживая буханки под рубахой...

На условленный стук мне торопливо открывала мать и задвигала за мной щеколду.

— А данк дир гот, а данк дир гот... — только после этого — хлеб из-за пазухи и еврейский тупой нож, с тяжелой серебряной ручкой, на которой выбит вензель.

Так продолжалось больше недели.

Потом какая-то женщина, о которой запомнил я, что была она чья-то гувернантка, принесла нам еду. На ней было темное синее платье до пят, посеченное вдоль узким куском солнца, пробившимся в щель между досками.

На другой день я не пошел на площадь к пекарне. Мать не пустила меня.

День этот весь был темным и сонным для меня, но следующий день пришлось опять начинать с солнца и кривых улиц, ведущих к площади, которая оказалась очень странной на этот раз.

Были на месте лошади, мусор, коноводы, но не было мне соперников.

Растерянный, я подобрал два хлеба, которые выкинул удивившийся мне пекарь.

На обратном пути меня остановила повязанная белым платком старушечья голова, маячившая над низким забором.

Старуха протянула ко мне мелкое лицо и робкими губами тихо сказала: — Пацанов-то твоих пострелял тот... в зеленом мундире. Вчера утром это было, — безумное лицо ее замолчало и скрылось.

Еще несколько дней, одинокий и пугливый, подбирал я хлеб.

# ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА



## ВОСТОК

Будто сама увидала его  
В зелени влажной —  
Древние горы отрадно блестят  
В час предвечерний..

Вот показалась издалека  
Башня Давида...  
Следом за ней — купола, купола  
И минареты...

Будто сама увидала его  
В час предвечерний —  
Камни его розовели в лучах  
Позднего солнца...

Купол мечети недвижно парил  
В воздухе знойном,  
И муэдзины в тот медленный час  
Звали к молитве...

Цвет апельсиновой роши в горах,  
Вкуе винограда,  
Благоуханный запах земли,  
С чем вы сравнитесь?



## В БОЛЬНИЦЕ

А город клокочет, хрипит и болит,  
У города вашего — сорок...  
А к утру зеленый пригашенный вид  
У стен, тупиков и задворок.

А к полдню — и полдень столично зачах  
В лучах небывалого лета...  
Что — время? Безвременье на плечах  
У вечности. Времени — нету.

Так правой рукой ковыляет левша,  
Так плугом равняют овраги...  
Трудись, сухорукая наша душа:  
Все вытерпит наша бумага.

За труд непосильный, за семижды семь  
Пеньковых промышленных зорей —  
Кровать в коридоре, больничный кисель,  
Как марганец в бледном растворе.

...Лежал он и двигал тихонько рукой.  
И в розовых гранях сосуда  
Кололся, дробился больничный покой  
Под сухенький стук ундервуда.

И слушал он пристально, не торопясь,  
Отточья и двоеточья —  
Все звуки и знаки в тончайшую вязь  
Переллетались, воочью.

Как будто в проколах, в изломах —  
Брюссель

Возник, кружевной, незнакомый...  
И больше его не томила постель,  
В изножи сбитая комом.

## Б. ПАСТЕРНАК

И кладбище огибаю,  
И сосен торжественный ряд,  
От редкого снега рябая,  
Тренинка скользит наугад.

Какая же нынче охота  
Месить жидковатый ледок?  
Там где-то за поворотом —  
Писательский городок.

Гола опустелая местность,  
Дорога так круто светла,  
Как будто успех и известность  
В архив подавали дела.

Стоит в Переделкине осень,  
В заборах, в особняках.  
Под шум пастернаковских сосен  
Ворота молчат на замках.

Пространства холодного вдалеке.  
Покой нежильного жилья.  
Но там, в стороне от погоста,  
Мне поступь посылшалась — чья?

Но там, в стороне от погоста,  
Как в прошлые годы журча,  
Кого выкликает под мостом  
Престуженный клетот ручья?..



## РЕМЕЗ ЯКОБИШВИЛИ

Родился я инвалидом. До 11 лет был полностью прикован к постели. После 16 тяжелых операций оторвался от постели и стал ходить.

Среднее и высшее образование я получил в домашних условиях.

Из-за изучения иврита был уволен из Кутаисского педагогического института, в котором работал на кафедре русской филологии.

Теперь я — репатриант из СССР. Прибыл в Израиль с сердцем, в котором нашла отклик мечта поколений, с сердцем, открытым веянию духа возрождения еврейства. Меня побудили к репатриации «не голод хлеба, не жажда воды, но жажда слышания слов Превечного».

Меня всегда тянуло к тебе, Родина. Я прибыл — прими меня. Своим трудом поднимаюсь на защиту твою, своими стихами воспую красоту твою, рассказами своими восславлю подвиги твои.

Я надеюсь, что мои стихи найдут отклик в сердцах, надеюсь, что они будут поняты так, как их понимаю я.

Людей не видя пред собой,  
Не замечая в сквере лавочки,  
По улице идет слепой.  
Потрагивая землю палочкой.

Его толкнут, пройдут вперед,  
И тотчас, торопясь вмешаться,  
Какой-то зрячий призовет  
Быть чуткими и не толкаться.

Но слышу голос я его,  
Негромкий в человечесм гуде:  
— Толкайтесь... Это ничего...

Я буду знать,  
Что рядом люди!!!



## ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ

### ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ

Два соблазна одолевают тебя в настоящий момент. Первое: забросить свой русский язык к чертовой матери, засесть за новый язык, убить на это столько времени, сколько понадобится, пока не отступишь на иврите первый рассказ. Помнишь, как там, в России тебе казалось, что иврит ты осилишь легко и играючи. Ведь ты же еврей, говорил ты себе, и этот язык живет в твоих генах, в крови. Надо только вспомнить его, приехав в Израиль. На деле оказалось иначе. Ты протер уже на иврите третью пару штанов, а результат ничтожный — запас слов, как у годовалого сабры. Допустим, при самой сатанинской усидчивости, ты все-таки напишешь через пару лет свой первый рассказ на иврите. Ты прочитаешь в подлиннике Хумаш и Танах, и все книги комментариев к ним. Прочитаешь, наконец, и вождельный предмет мечтаний, таинственную книгу Зогар — об учении Каббалы. Прочитаешь всех древних и новых писателей на иврите с тем же наслаждением, с каким читал в подлиннике Булгакова, Замятина, Цветаеву, Белого. Но уверен ли ты, что это не изменит совершенно твоего образа мышления? И в один прекрасный день вместо нынешнего доброго честолюбия, ты обнаружишь в своих мозгах раскисшее болото неопределенных стремлений. И удастся ли тебе делать потом также свободно то, что ты делал раньше: писать и одновременно пристально вглядываться в жизнь? Почти ничего литературой не зарабатывать и все-таки не помереть с голоду. Надо ли говорить тебе, что уровень жизни в Израиле относительно высок и требует постоянного физического напряжения, чтобы не быть раздавленным колесом быта. Там ты искитрялся каким-то образом восемь часов сачковать на работе и сохранять себя более или менее свежим для своей машинки. Здесь ты

тоже вынужден подниматься утром в шесть, отрабатывать свои восемь часов, но к вечеру ты приходишь на свидание с машинкой уставший. Чтобы ты ежемесячно мог исправно платить по счетам, содержать семью, сносно растить детей, зарплата твоя должна быть высокой. Допустим, и это тебе удастся. Что же дальше? А дальше ты вдруг подумаешь, что надо учить английский. Ведь ты мечтаешь, в конце концов, стать профессиональным писателем, жить исключительно литературным трудом. Ведь тираж твоих книг, даже на иврите, не даст тебе необходимых средств. Ты убедишься, что надо выходить на мировой рынок. Ты можешь возразить — на это есть переводчики. А я отвечу: какого переводчика ты предпочтешь, если не сможешь прочесть перевод тобою написанного?

Итак, вернемся к тебе сегодняшнему — израильскому писателю, пишущему по-русски.

Это очень удобно — отречься от необходимости постигать литературный иврит, попрежнему постукивать себе, как сейчас. Вот тут-то я и покажу тебе этот капкан, эту ловушку, которая поджидает тебя впереди. И если ты туда попадаешься, то никогда уже не выберешься, а останется лишь подписаться под своей собственной творческой смертью. Сегодня ты пишешь по-русски. Сюжетов, вынесенных оттуда, достанет на пару лет энергичной работы. Но когда испишешься и захочешь писать о жизни, тебя окружающей, с ужасом убедишься, что вовсе не знаешь ее, ибо все происходящее воспринимал своим русским образом мышления, вечно сравнивал, а не постигал. Не искал интересных людей, не завел друзей, огибал острые углы. Ты только углублял и расширял прошлое, от которого бежал и которое проклинал. Цеплялся за это из лени духовной, из трусости, мелкого честолюбия, лишь бы увидеть время от времени свой рассказ в русском журнале и свою фамилию, набранную русским шрифтом. А люди, что приехали в Израиль в один год с тобой, давно читают ивритские газеты и книги. И ты поймешь, что предал сам себя, ибо в заявлениях в ОБИР ты писал, что хочешь покинуть Россию для того, чтобы приобщиться к культуре и историческому наследию своего народа.

Кому же тогда и зачем писать в Израиле на русском языке?

И тогда может случиться, что ты подумаешь перед своей литературной смертью — а стоило ли вообще тебе уезжать из России? Не лучше ли было остаться там, с дрожащей душой, в той конуре, на шоссе Луначарского, чувствовать на себе пристальный тигринный взгляд КГБ, зарабатывать, сачкуя, свои 90 рублей в месяц и ночами напролет воплощать в рассказы свои страхи и ужасы для абстрактного читателя. Складывать это в стол, томиться от безвестности. Получать единственное наслаждение в том, чтобы собравшись с такими же, как ты сам, затравленными, читать им это тайком. Не лучше ли? И пожалеешь, что приехал сюда...

Так упаси меня, Боже, дожить до такого часа, сохрани меня лучше здесь в качестве сносного преподавателя физкультуры.

**Эли ЛЮКСЕМБУРГ.**

Иерусалим, май 1974.

# ТРЕТИЙ ХРАМ \*

## ПОВЕСТЬ

Стоит упомянуть, что добрый профессор Кара-хан заблуждался, сомневаясь в архитектурной подготовке своего партнера по психоанализу.

Зодчий действительно не кончал специального факультета. У него вообще не было никакого диплома о высшем образовании. Храмы Исаак Фудым видел во время войны, когда катил по Европе со своим орудийным расчетом и делал свое дело солдата. Но ни католические и православные храмы, которые мог видеть он в ту пору, ничего общего не имели с Третьим иудейским Храмом, новехонько сверкающим сейчас во дворе скорбного дома. К чести зодчего надо бы заметить, что и у Волчьего леса Лейвик даже словом не обмолвился о том, каким его надо возводить, Третий Храм, и о том, что надо забирать его в душу и нести с собой. Лейвик обронил тогда мимоходом пару слов о скрижалях и Синае и все. Быть может, увязавшись тогда капитан артиллерии с этими доходягами в Палестину, они могли бы ему по дороге сообщить кое-какие сведения по части религиозного зодчества. Да, пойдя он тогда с ними, вообще не пришлось бы стоять Храму посреди скотного двора, возле общественного туалета. И не было бы в жизни зодчего смутных воспоминаний о трибунале, не били бы его прикладами на афганской границе. Но все это было, было! И мучит порой память бедного зодчего, и есть этот Храм, от которого не отмахнешься, который готов, и надо с ним идти на родину. И есть еще лютый враг, так и не уразумевший, откуда у этого чудака обширные познания о своем народе?

Не мог знать профессор-новатор, что там, в Сибири, на лесосплаве зека Фудыма окружали не только тайга и тундра. А ночью на нарах ночевали с ним не одни лишь мерзкие насекомые. Профессор толковал придуманный сон в одной лишь плоскости догадок. А сон этот об овцах и льве многомерен, точно притча предания.

Если в Сибирской тайге тебе удалось заглянуть в лужу и вместо облика овечьего распознать в себе облик львиный, то никогда в жизни ты не вернешься опять к овцам. Кто однажды почувствовал себя сильным, тот никогда ощущения этого не забудет. Человек станет рвать прутья своей клетки, рвать на себе живое мясо, кидаться на волкодавов — и уйдет-таки к братьям-львам.

И если выйдет у человека неудача, как вышло у Фудыма, — поймут на афганской границе, будут бить и отдадут в скорбный дом, — то и тут он найдет выход. Тело его останется с овцами, стригите шерсть, режьте на мясо! Зато душа! — душа его поселится на родине, и помогать ей он будет изо всех сил. Он Храм станет строить!

\* Окончание. Начало в № 8.

В толковании этого сна профессор далеко и прозорливо подошел к истине. Нет, не у Волчьего леса открылись у Фудыма глаза. Свои лучшие зерна доходяга бросал тогда в еще каменистую, бесплодную почву.

Это в Сибири, на нарах заглянул Исаак Фудым в источник с зеркальной водой.

Они собирались на нарах, ночи напролет шептались, шептались. Делились познаниями — короче, кончали факультет своего народа.

Срок у Фудыма был самый большой: «измена родине!» Срока этого вполне хватало на приобретение обширных познаний в библейской истории, в истории диаспоры, в теологии и светской литературе.

Братья-львы один за другим погибали в жгучих снегах, умирали на шпалах, — не повезло братьям. А Фудым вышел живым, как и Лейвик в свое время. И как Лейвик, попробовал идти в Палестину, но не дошел.

Зодчий легко взбежал на ступени, точно на крыльях взлетел он на верхнюю площадку перед колоннадой, — поскорей убедиться, что за время его вынужденной утренней отлучки люди работали согласно всем его указаниям.

Так и было. Вдалеке укладывали последние плиты задней площадки, выносили последние корзины строительного мусора.

Он вошел под колонны, в тяжелые, настежь распахнутые ворота, кованые из благородной бронзы.

Никакого убранства в Храм еще не вносили. Шаги человека, ступавшего по каменным плитам, гулко и многократно повторялись в потолках, сводах, во множестве больших и малых помещений.

С верховными властями Раввината все уже было оговорено. Пока не прибудет ковчег со скрижалями — в Храм ничего не вносить. Фудым и Лейвик принесут скрижали, поместят их в золотой ковчег с золотыми крылатыми ангелами, начнется празднество, торжество освящения Храма.

А сейчас, перед отбытием к Синаю, зодчий в последний раз желает взглянуть на свое произведение.

Быстрым, решительным шагом пересек он центральный зал служб, достиг места, предназначенного для ковчега.

Он стоял сейчас в Святой Святых, лицом к лицу с Законом, на первом камне, что положен был Богом в фундамент мира. Зодчему почудилось, будто рядом с ним встала тень учителя.

«Видишь, — сказал он ему, — я воздвиг Храм, как ты и мечтал! Храм мой готов, завтра ты найдешь меня под Синаем. И вместе мы пойдем за скрижалями. Меня пугало одно: я ни разу не встретил тебя на родине. Нет, не подумай, я не в обиде на тебя, что вместе с нами ты не рубил камни. Но почему ты не открыл мне, хотя бы своего лица? Почему не утешил? Я хочу встретить тебя живым, убедиться, что я не убил тебя, что вы целыми и невредимыми дошли тогда до родины».

## Г Л А В А 4.

— Твоего отца зовут Авраам, а я Сарра, жена его! Вспомни же нас! — говорила, всхлипывая, шпионка.

Слез Исаак Фудым терпеть не мог. Он вообще впадал в ярость при виде слез. Он не выносил истерических припадков. Но на женщину эту пока не злился. Он действительно не понимал, о чем она его просит вспомнить.

— Нет, женщина, имен, которые ты называешь, я не знаю!

Прижимая ко рту платок, она сдавленно зарыдала.

— Боже мой! он не хочет вспомнить родителей! Портной Авраам—отец твой, а я — мать, Сарра!.. Они столько били тебя по голове! Мальчик мой, сыночек!

Свидание проходило на мягком диване, за телевизионным столиком. Напротив, на другом диване, дремал Господин Удав. Ему вменялось в обязанности следить за свиданиями. На стоны и всхлипывания Удав приподнял голову, поглядел на обоих одним, чуть приоткрытым глазом.

— Гражданка Фудым, я выгоню вас к чертовой матери. Вы что, на похоронах? Прошу не нервировать больного, и так свидаетесь в неположенное время.

Женщина виновато закивала, быстрым движением смахнула свои слезы.

— Спасибо, Славик, спасибо! Простите меня, старую дуру!

Удовлетворившись этим тактичным, разумным ответом, Удав опять прикорнул на подушечке. После обильного обеда его клонило ко сну. По расписанию и был сейчас мертвый час во всей лечебнице, лишь эти двое вынуждали стража бодрствовать. В палатах царил безмятежный покой.

— Мундир принесла? — осведомился Исаак тихим шепотом.

Она молча передала ему под столом авоську, где в газетной бумаге находился тугой сверток.

— А медали?

— Медали на кителе.

Потом опять начала:

— Что ты задумал на сей раз, Исаак? Почему забираешь и эту последнюю память о себе? Я много лет хранила этот мундир, часто вынимала, чистила, пересыпала нафталином. Мы с Авраамом смотрели на него, видели в нем тебя. Исаак, ты снова уходишь в горы?

Зодчий абсолютно все помнит из своей жизни. Но никак не может уразуметь, кем приходится ему эта женщина? Помнит, как вернулся из Сибири — страны снегов и тайги. Жил потом в чьем-то доме. Потом тайно отправился в горы, где живут в аулах таджики, скрывался в скалах. Помнятся ему заснеженные вершины, ночь и черное небо в звездах. Помнит, как били его пограничники, юнцы безусые, в жизни своей не нюхавшие войны. Это помнит, это все было! А после — сразу оказался на родине и начал возво-



дить Храм. Да, Храм его, слава Богу, готов, что и говорить! Готов и разместился полностью в его душе. Завтра он идет с Храмом к Лейвику. Кем же, черт побери, приходится ему эта женщина? О каком таком портняжке твердит со скулежем? Она часто бывала у него в лечебнице, приносила огурцы, яблоки. Приходила и уходила, и Исаак забывал о ней. Не надо долго гадать, яснее и быть не может — это один из агентов профессора Кара-хана. Память на лица у зодчего просто замечательная. Он не встречал ее на дорогах войны, не видел эту женщину на нарах в Сибири, не было ее и среди строителей Храма. Чего же тут гадать? Надо доверять своей памяти! Зато во вражеской обстановке он всегда начеку. Ведь надо понимать, — если шпионка принесла мундир, то шайке этой должно быть известно, что он уходит. Враги начнут стеречь каждый его шаг. Но мы еще посмотрим, кто кого перехитрит. Эта шайка много о себе воображает. Недаром говорит народная мудрость: пусть не хвастает перепоясывающийся на поединок, а распоясывающийся после поединка! Этой своре наемников никогда не узнать, из какого источника черпает силы могучий дух зодчего.

— Авраам день и ночь напролет читал свои книги, он уже сам свихнулся, вычисляя свою вину. Ведь если Бог карает за что-то, он прежде всего лишает рассудка, — говорила женщина, — когда я доставала из сундука твой мундир, он сказал, что твой грех связан с этим мундиром, уходит в прошлое. Грех этот мучает тебя и не дает покоя. Авраам брал читать книги даже у профессора, пытался понять метод, которым он лечит тебя, и хвастает, что вылечит. Он перечитал профессорские книги и понял, что ты закончил свой Храм и уходишь в горы. Он будет твоим спутником в этой поездке.

— Замолчи, женщина! — испугался зодчий. — Я презираю всю вашу наглую шайку. Я никуда не иду. Я попросил мундир, чтоб укрываться мне от стужи на строительной площадке. Пришел трудный месяц Ийяр, по всей Иудее свирепствуют холодные ветры, попеременно с дождем и градом. Все рабочие разбрелись по домам. Должен же кто-то находиться при Храме, отгонять от его стен собак и бродяг!

— Исаак, умоляю тебя, не ходи никуда! Я верю Аврааму, как он вычислил тебя, — ты завтра уходишь в горы, ты поедешь туда автобусом! Ты помешан на этой проклятой границе. Вспомни, хотя бы о нас, пожалей нас, мы дня спокойного из-за тебя не имели. Ты столько лет был на войне, столько промучался на каторге! Потом один-единственный месяц пожил с родителями и снова попал в несчастье. Мы продали дом, мы спустили все с себя до последней копейки, лишь бы собрать взятку твоему следователю, задобрить его. Поэтому ты здесь, в этом санатории, а не снова на каторге.

Исаак чувствовал, что эта женщина близка к истерике, поэтому оборвал ее, чтоб она быстрее ушла.

— Слышишь, мне деньги нужны! Дай мне деньги!

Она достала кошелек, дала ему трешку. Она хорошо знала, почему билет на автобус.

— Сынок, очнись! Послушай мать свою, хотя бы один раз. Авраам сделался страшен от своих пророчеств. Поверь и ты ему. Он говорит, что каждому определен срок поселиться на родине. Исаак, ты только мешаешь Богу в своем безумстве. Тебе не время идти на родину. Авраам говорит еще другое: ни меда, ни жала твоего на родине никому не надо.

Трешку Исаак спрятал. Теперь его занимало одно — бодрствует Господин Удав или задремал, чтобы незаметно пронести сверток с мундиром. С соседнего дивана ему послышалось урчание и легкий храп.

Исаак тихо поднялся, чтоб не скрипнули даже пружины дивана.

Женщина уронила ему голову на грудь, заливая беззвучными слезами полосатую куртку.

Исаак понес мундир в палату.

## Г Л А В А 5.

Сон его был глубоким и освежающим, а пробуждение — ранним и удивительным. Будто ангел шепнул: пора, Исаак, Синай и Лейвик ждут тебя!

Этот же самый ангел каждое утро будил его: вставай, Исаак, твой Храм ждет тебя!

Действия свои он продумал заранее, сборы заняли мало времени.

Застелил койку аккуратно. Взбил подушку, поставил ее колом, как и требовалось по инструкции. Даже последние его действия не должны оставить плохой памяти у администрации. Когда его хватятся через пару часов, соберутся молчаливым кольцом у койки, пусть каждый из них скажет себе: да, Исаак Фудым до конца оставался замечательным человеком.

Потом достал авоську из тумбочки.

Стараясь не шуршать газетой в этой страшной тишине своего побега — развернул сверток с мундиром. Он не стал предаваться воспоминаниям при виде своего бранного одеяния, а отстегнул лишь планку с медалями и сунул ее в карман галифе. Сегодня у него будет достаточно времени размышлять о событиях, связанных с этим мундиром.

Надел чистое белье, облачился в мундир.

Как он и опасался, мундир болтался на нем отчаянно. Но и тут он не стал размышлять долго. Мундир на нем — и basta! Главное — чтобы Лейвик его в нем увидел. Чтоб не пришлось тому долго напрягать память.

Потом надел войлочные тапочки.

И тут Исаак искренне огорчился. Слишком много казенных вещей забирал он! Ведь за все украденное платить придется вдове тете Маше. Но кому он может объяснить сейчас, что белье он берет

с собой, чтобы предстать во всем белом пред вершиной, а полосатая одежда как раз соответствует тому, во что одет был учитель в день освобождения из концлагеря! Это надо понимать как символ, что и Исаак Фудым тоже прозрел в лагерях. Лейвик сразу поймет это. Поймет даже, что за свое прегрешение он был наказан в жизни всемеро семижды семь.

Плохо придется зодчему, если пошлют вдогонку это чудовище Удава. Он достигнет Исаака в автобусе, обхватит мертвой хваткой, и, чего доброго, — разрушит Храм! Жизни своей зодчему не жаль, главное в ней он исполнил. Но Храм?! И желая в какой-то мере задобрить возможную погоню, зодчий нашел лист бумаги, карандаш и быстро начертал:

«Оставшиеся от строительства Храма триста шестнадцать талантов свинца, две мотодрезины пиломатериалов, предназначенные для прокладки колеи Дальлаг — Урсатьевская, загнать ведомству государственной безопасности, на вырученные бабки воздвигнуть вдове тете Маше золотую крышу, ибо сказано: будь у вдовы хотя и крыша золотая, она все равно вдова. Завещание составлено зодчим Третьего Иудейского Храма восьмого дня месяца Ийяра в крепком здоровье и при ясном уме, по всем судебным недоразумениям обращаться в город Ерушалаим».

Завещание он положил на койку, на видное место, чтобы оно сразу бросилось в глаза.

Поднявшись на табурет, зодчий открыл окно, окинул палату прощальным взглядом.

Было очень рано, поэтому действие укола, сделанного Натану Йошпе перед отбоем, еще продолжалось. Человек, которого отвергали все самолеты, отбывающие на родину, спал сейчас со счастливым лицом. Он спал в собственном особняке, стоившем ему бешеных денег. Экс-начальника галантерейного цеха окружал сейчас китайские сервизы тончайшего фарфора, импортная финская мебель, телевизор с двенадцатью каналами для приема цветных программ... Часа через два он начнет поединки с трапами и самолетами, станет драться со стюардессами, бежать из последних сил за горделивыми межконтинентальными лайнерами, продираясь сквозь лиловый, непроницаемый туман, сквозь дремучие тучи своего греха...

Спрыгнув с подоконника, Исаак очутился среди врагов. Белые кролики с красными глазами сбегались к проволочным сеткам, выслеживать его. Исаак припал к земле и полolz по-пластунски, как бывало на фронте, в разведке. А наглые кролики, эти братья по крови, тем временем перешептывались, подергивая розовыми носиками. Утром они будут сдавать кровь санитарам и все непременно доложат.

Исаак дополз до угла, скрывшего его от этой оравы.

У входа в вестибюль, мимо двери, что шла со двора, он прошел на цыпочках. Дверь была открыта и там, на диване, на плюшевой подушечке спал Господин Удав. Сам воздух вокруг был начинен ужасом.

Счастливно миновав и это препятствие, он ступил на асфальто-

вые тропинки. И тогда из чернеющей двери загона беглеца заметили другие братья, — восемь пар внимательных глаз.

Это уже было всерьез опасно, ибо с ослами, если верить преданию, шутки плохи. На всякий случай зодчий решил их задобрить. Взял вилами охапку сена из стога и бросил в загон. Была в этом поступке одна тайная надежда. Исааку было отлично известно, что именно ослам дано видеть ангела смерти, который выходит с обнаженным мечом навстречу путнику. Даже пророкам не дано это видеть, а ослам — да!

Животные, весело замахав хвостами, принялись есть, и Исаак обрадовался знамению: путь его был свободен. Ангел не стоит поперек пути с обнаженным мечом. Тогда он снова подошел к стогу, взял высокую лестницу и приставил к стене.

Он долез до колючей проволоки, раздвинул ее, встал на высокий кирпичный гребень забора.

Сначала бросил на ту сторону авоську, потом спрыгнул сам.

«Подобное притягивает подобное, — подумал он, рассуждая, как бы ему покороче выйти на автобусную станцию. — Храм, который стоит у меня в душе, надо поставить точно против Синая. Встать так, чтобы быть лицом к вершине».

Он вышел к перекрестку и сразу увидел горы во всем их величии. Столько препятствий было перед Синаем, когда он наблюдал его из окна палаты! А тут он весь был виден от подножья до вершины, как на ладони. Манил и притягивал.

И он пошел.

Он шел и шел, мягко шаркая по асфальту войлочными тапочками. И радостный этот путь не омрачила ему даже встреча с почным бродягой.

Человек, облаченный в истерзанную телогрейку, наподобие той, что носил и сам зодчий в Сибири, вырос вдруг из подворотни у самого носа.

Бродяга внимательно осмотрел зодчего с головы до ног, точно обнюхивая, точно собираясь тут же начать шить ему костюм. Но дернул брезгливо щетинистым подбородком.

— Ну, брат, и вырядился! Кто же тебе в таком маскараде копеечку бросят? Это после войны так понтоваться можно было.

И взялся ковыряться в его сетке-авоське. Бродяга разворошил полосатую одежду, достал на свет буханку черного хлеба, особенный интерес проявил к огарку свечи. Потом снял с зодчего ермолку и принялся примерять на себя.

— Ясно, брат, — осенило его. — Вижу, что от хозяина освободился. Ступай себе с миром.

Получив свободу и продолжая счастливый свой путь, зодчий так рассудил об этой встрече:

«Безумцы и нищие подобны мертвецам. Этот человек искал сокровища, чтобы ограбить меня, но не нашел ничего. Этот мертвец не разглядел во мне Храма, — сокровища из сокровищ! Тысячу раз правы были мудрецы наши!».

\* \*  
\*

Автобусная станция кишмя кишела агентами профессора Кара-хана.

Напрасно профессор выдавал себя за простака и доброжелателя. Зодчий всегда знал, что его окружают глаза и уши врагов. Особенно в последние дни.

Едва ступив на тесную, загаженную хлопковой шелухой маленькую площадь, зодчий подумал с отчаянием: где же он проболтался об окончании строительства?

Вот у самого билетного окошка сидит или лежит, — черт его знает, в какой он там позе, — продажная сволочь, агент профессора, и судя по истомившемуся виду, ждет объекта, видать, еще со вчерашнего дня. Старик, кажется, так и ночевал у окошка, прямо на цементном полу!?

Завидя объект, старик вострепнулся, вскочил на ноги, спрятался за угол кассы, полагая, что сам остался незамеченным.

Зодчий не стал удирать и не впал в отчаяние, а призвал на помощь мужество и хладнокровие. Об этом тоже говорит предание: помочь можно сильному, советовать умному! Поэтому он получил желанную помощь.

«Допустим, побег сорвался, — размышлял он.— Резидент профессора захлопнет сейчас ловушку, в которую я попал. Но и тут никто не пронюхает о Лейвике, и тут я напутаю им карты. Ах, профессор, профессор! Почему он так грубо вторгается в чужие судьбы? Кто дал ему на это право? Почему он не доверяет людям лечить самих себя? Вчера, кажется, я человеческим языком толковал ему, — этими дурацкими снами нам не разрушить очага болезни. Я должен увидеть Лейвика живым. Это меня вылечит».

И решительным шагом зодчий подошел к кассе, сунул в окшечко деньги. Резидент мгновенно оказался рядом. Приставив к уху ладонь, старик расслышал, куда объект едет.

— Один до Чимгана, — сказал зодчий. — Один до Чимгана на первый рейс.

И тут старая продажная шкура чуть ли не оттер зодчего плечом и тоже взял билет до Чимгана.

Убедившись, что он верно разоблачил намерения старика, зодчий пошел садиться в автобус.

Профессиональной волчьей рысью старик следовал по пятам. В руках у него Исаак обнаружил вдруг крошечного черного ягненка. Старик прижимал его к животу.

И поразился зодчий: «Это еще что за агент?»

В салоне автобуса было пусто. В эту рань на автобусной станции вообще не было ни души.

Про себя же зодчий рассуждал так: «Кругом все оцеплено. На станцию никого не пускают, чтоб проще было меня взять!»

Он забился в угол, на заднее кресло. Старик плюхнулся рядом, хотя мест свободных было до чертовой бабушки! И двери захлопнулись, автобус стал выезжать с площади.

«Вот и все, — заключил зодчий, — Автобус зафрахтован этой шайкой, шофер подкуплен. Куда это они повезут меня ,интересно?»

Сосед же его, это старое ничтожество, повел себя в высшей степени странно. Устроив у себя на коленях ягненка, стал пялить глаза на Синай самым наглым образом. На святой Синай, что показался впереди, в ветровом стекле, прямо по курсу автобуса. А мерзкой, трясущейся лапкой старик стал гладить ягненка по нежной шерстке, точно успокаивая собственные нервы после всей этой удачной операции по захвату объекта.

Старик молчал, не задавал вопросов, позволяя зодчему подробно себя изучать.

Глядя на него сбоку, Исаак видел его бороду, лежавшую на груди грязными клочьями.

«Вывалаялся, негодяй, за ночь в плевках и хлопковой шелухе, — издевался над своим захватчиком зодчий. И этот странного покроя не то чапан, не то халат тоже весь в пыли и грязи. С какими, однако, подонками водит профессор кампанию! Как мудр и прозорлив был я, не доверяя всей этой шайке ни на ломаный грош!»

И решившись окончательно выставить старика на посмеище, показать тому, что он окончательно разоблачен, зодчий ткнул пальцем в ягненка и язвительно осведомился:

— Простите, почтенный, хотелось бы знать, а этот кем у вас состоит?

Продолжая ласкать животное, старик невозмутимо сообщил:

— Это наш агнец, Исаак. Ему придется принять твой грех, если судьи вынесут тебе смертный приговор.

И тут старик заинтересовал зодчего. Впервые в жизни он почувствовал интерес к другому человеку. Зодчий никогда не совался в чужие дела, всегда обстояло как раз наоборот. Именно назойливого любопытства он терпеть не мог в людях. Поэтому спросил очень серьезно.

— Куда же мы направляемся, простите?

— В горы, Исаак, не так ли? Бог призывает нас к искушению!

Исаак насторожился. Старик упомянул его имя, говорит о каком-то грехе. Откуда ему может быть это известно? Только из вражеского стана! Гнусная эта шайка готова подделаться под образ его мыслей, лишь бы ей сорвать свидание зодчего с Лейвиком. А что, если это и в самом деле ангел, который едет его спасти? Беречь зодчего на путях его? Если говорить начистоту, он и в самом деле едет на Суд. Ангелу все ведомо заранее, он мог прихватить с собой ягненка, чтоб не лишать зодчего жизни. Ведь именно сейчас, после Храма, он поднялся нравственно на недостижимые простым смертным высоты. Зачем же вычеркивать из жизни такую личность?

— Странно вы говорите, почтенный. А можно ли знать, каково ваше имя?

— Авраам! — с большим достоинством ответил тот. — Авра-

аму исполнилось время идти с сыном в горы.

Исаак мучительно стал вспоминать, произносилось ли это имя среди его мучителей? И не вспомнил! Память на имена у зодчего была замечательной, на нее вполне можно положиться. Нет, там, где его щупали в перчатках, заверяя в любви и искренности, имени этого не произносилось, такого он не слышал. И тогда... Тогда разум его слегка помутился!

Помилуйте, братья-израильтяне, сам праотец наш Авраам с ягненком! Что-что, а имя первого патриарха зодчему отлично было известно. И чтобы не рехнуться на этом же самом месте, задал последний, контрольный вопрос:

— А вы уверены, почтенный, что ничего у вас не напутано? Тора, как известно, повествует об этом событии несколько иначе! К месту искушения вы едете без агнца, это самое животное чудесным образом появляется в последнюю минуту, когда вы заносите над горлом сына смертоносную руку!?

— Ах, сын мой, сын мой, — искренне сокрушаясь, парировал патриарх и выхватил вдруг из недр своего странного халата кинжал невиданной формы. — Все верно, дитя наивное! Кто, кроме отца родного, позаботится о доставке агнца к месту искушения? Разве я похож на безумца, чтобы рисковать жизнью единственного, возлюбленного чада? Искушение, к которому нас призывают, предание приписывает мне, на самом же деле оно твое. Но пусть уж так остается, как в Книге. На что не согласишься, ради жизни твоей!?

И тогда напряжение отпустило Исаака. Он подумал, не встречался ли этот старик ему на родине? Ведь столько свихнувшихся людей приходило под стены Храма! Старик этот был, несомненно, одним из тех, что помрачились умом на почве предания — его затея с искушением, трехдневный ягненок. Вот и кинжал. Правда, у него на коленях покоилось вещественное доказательство вроде бы оттуда. И зодчий подумал с усмешкой: куда же, простите, в этом случае девать ему Третий иудейский Храм, который он везет сейчас к Лейвику? Ведь между этим кинжалом стариковским и Храмом в его душе пролегал безумная пропасть времени!

Самым верным было бы решить, что старик явно не в своем уме. Мало ли помешанных приходило под стены Храма!?! Были и такие, что заблудившись во времени, вопрошали наивно: не Соломон ли он Мудрый? Не строит ли он Первый Храм? ▲ были и сущие дьяволы, что приходили от рек Вавилонских и пакостили, отравляли зодчему жизнь. Эти вопили, что зодчий сам не кто иной, как посланник сатаны и восстанавливает башню Вавель, и надо прекратить все немедленно — Бог покарает землю за дерзкое предпрятие, смешает языки и народы, и вся цивилизация человеческая пойдет насмарку.

Поразмыслив так, зодчий совсем было успокоился. Сразу объяснилось, откуда сосед взял его имя. В спутники они попали случайно, каждый из них направляется в горы по своим делам. Легко объяснялся тогда и кинжал — его запросто могли откопать в

окрестностях Бейт-Лехема или Иерихона. Мало ли где попадаются древние вещи? В конце концов, кинжал легко могли отковать в кузне какого-нибудь киббуца или мошава!

Зодчий повеселел. Забавно, все-таки, что для своей затеи старый безумец выбрал маршрут именно на Синай!

Если в дороге он не окажется нахалом и втирушей, он ничуть не помешает бывшему капитану артиллерии думать о Лейвике, подробно вспомнить, что же произошло тогда между ними на опушке Волчьего леса?

Зодчий глянул в окно, определив, что автобус давно покинул город, путь они держат точно по курсу, и последние крохи сомнения рассеялись сами собой.

Да, очень уж забавно обернулась вся эта история со стариком!

\* \* \*

Авраам ткнул пальцем в багаж сына:

— А что у тебя, Исаак, что ты везешь? Имей в виду, чем больше доказательств в твоё оправдание мы предъявим, тем больше шансов, что суд ограничится заклятием агнца!

Зодчий снова почувствовал смятение. Этот загадочный спутник совершенно сбивал его с толку. Так прямо сказать может только ангел, который едет спасти. И согласившись, что это его защитник и добрый ангел, он подумал:

«Меня станут судить за тот выстрел. Если Лейвика под Синаем нет, значит он мертв, я убил его. Отсюда и заключение суда: Лейвик для Фудыма символ родины. Родина для него смысл жизни. Если Фудым убил Лейвика, значит он убил родину. И нет ему никакого прощения... Я обязательно должен найти Лейвика живым. Я найду его!»

— Путь наш только начался, Авраам! Я все покажу тебе и все расскажу подробно. Быть может, покажу, что у меня в душе, это самое важное мое оправдание на суде. Дай мне время прийти немного в себя, успокоиться от преследования.

Старик охотно с ним согласился. Потом достал из-за пазухи черствую лепешку, сдул с нее не то пыль, не то плесень и переломил пополам.

— Подкрепим наши силы, Исаак! Произведение земли Хананской, кровь и пот родины, соки земли напей.

Вдруг Исаак догадался, что его так колото в кармане. Вытащил из брюк-галифе планку со звякающими медалями, приколот на кителе.

«Вот и мундир с регалиями на мне, — думал он, жуя лепешку. — А в душе Храм и покаяние. Храм, который построен для Лейвика, чтобы приняли это во внимание на суде... Как же он тогда догадался, что я и есть тот самый человек, с которым этим несчастным можно было вступить в контакт? Ах, судьба! Теперь-то определенно ясно, что мой случай во многом схож с искушением



Натана Йошпы на приеме у консула! И там, и тут нам было испытание на верность своему народу, на готовность служить настоящей родине! Тот, кто хоть раз отвергнет ангела спасения, того судьба бьет и карает за слепоту и глупость. Стопы доходяги направили ко мне сам Всевышний!.. Тогда был май, помнится, Да, стоял такой же теплый весенний денечек, как и сейчас. У опушки леса чадили сожженные дотла бараки концлагеря Вольфвальде, пыхтела вовсю и наша походная кухонька, было время обеда. Доходяги едва держались на ногах от слабости. Мы их кормили первыми. И Лейвик подошел ко мне, спросил пугливо: «Вы свой, капитан?» Помню, рассмешило меня это. — Елки-палки, да кто же я, как не свой!? Кто освобождал их, если не мы? Кто откармливает? Его бы тут хлопнуть по плечу, обнять сердечко, только куда уж! Слабые они были, как цыплята! В чем только жизнь держалась?! А Лейвик продолжал: «Верно, капитан, мы вас вовек не забудем. Вы нам жизнь подарили, вернули в мир. Но я имею в виду происхождение ваше — какого народа вы сын? Нас, уцелевших, маленькая группа подобралась, мы решили идти в Палестину. Мы мечтали об этом в лагере. Мы слово себе дали, если Бог выведет нас на волю, остаток жизни мы посвятим служению своему народу. И вот мы свободны!.. Нам нужно ваше содействие, капитан, надо бы запастись продовольствием на дорогу. Пара буханок хлеба нас бы очень выручила...» Тут-то я и струхнул, болван. А чего струхнул, сам толком не знаю. Лежал у моих ног поверженный фашистский зверь, мы, как говорится, победителями были, а всего чужого, как огня боялись. Нам было запрещено иметь контакты с бывшими заключенными. Так я Лейвику и сказал, помню: «Помочь помогу, конечно. Но давай остерегаться будем, чтоб Смерш наш полковой не усек нас». Сказал, что приду вечером с хлебом к их палаткам. А он пусть уходит, нас давно уже все разглядывают...».

\* \* \*

\*

На лбу Авраама морщинами ходила желтая, пергаментная кожа. Большие, мясистые уши двигались вверх и вниз, а нос его, из которого пучками торчали волосы, трепетал ноздрями, будто чудилась Аврааму чадающая гарь барачных, сожженных дотла, или вкусный дымок супа из походной солдатской кухни.

Авраам собрал с себя и с сына крошки хлеба, сунул ягненку в рот мизинец и ссыпал ему все, что было в ладони.

— Я так скажу на процессе, — начал он. — Звездные судьи, давайте обратимся к Закону! Если иудей совершит ненамеренное убийство, ему дается возможность бежать от возмездия под защиту одного из трех жертвенников в трех городах Ханаана. Это же самое имеем в случае с моим сыном Исааком. Он согрешил и бежал от возмездия под защиту безумия. Он совершенно искренне проживал на родине, поэтому действие и сила Закона должны распространяться и на него. Исаак был слепым орудием в руках выс-

ших сил, когда пришел час убрать того человека. Так и запишите в свои протоколы, крылатые судьи!

От слов своего адвоката, от этой пламенной речи горячая благодарность переполнила Исаака. Он почувствовал жалость к самому себе, к своей несчастной жизни. Вот где была истинная доброта!

— Да, да, — поспешил он дополнить речь адвоката, — я даже не целил в него, я только припугнуть хотел. Я что, я шантажа боялся, и только! И неизвестности, в которую меня звали. Как мог я ни с того ни с сего пуститься в сомнительное предприятие с какими-то оборванцами? Никак это не вышло: капитан артиллерии — и жалкие доходяги!

И спохватившись, что хочет оправдать ту овцу в капитанском мундире, Исаак оборвал сам себя.

\* \*  
\*

Автобус мчал и мчал их вперед, Синай выросал на глазах и приближался.

За окном проносились деревья, поселки, люди. Было жарко и душно в салоне. Было так, как и положено быть в милых сердцу пустынях, вблизи синайских подножий.

«Вечером я был с хлебом у их палаток. Сидели мы на поляне, горел огарок свечи. Касались самых разных тем, я увлекся, спорил, доказывал то, отстаивал это... Нескольким вечерам прошло так. В последний раз Лейвик был возбужден, его лихорадило. Он убеждал меня, что сейчас в Палестине крайне необходимы люди с моим опытом, с военными знаниями. «Мы уходим этой ночью, — говорил он. — Идемте же с нами, брат мой! Не надо слишком долго раздумывать и взвешивать. У вас не было тех страданий, что нам пришлось пережить.. Мы прозрели в истине, нам открылся наш путь. Истина, достигнутая через страдания, — какая еще может быть правда!? «А я отвечал: «Нет, парень, оставьте меня в покое! Вы попросту обезумели от ваших страданий, вот и вся ваша правда. В своем безумии вы готовы бежать на край света. У меня впереди ясная судьба. Войну мы выиграли, сейчас только-то и начнется красивая жизнь. А Лейвик все твердил: Я желаю вам добра, капитан. Ваше право выбирать себе судьбу. Но почему вы не можете понять: кому открылась истина, — может звать за собой с высшей правотой. Я вижу сейчас то, чего вы сами не замечаете, — ваша беда уже идет по вашим следам. Я не хочу быть жестоким пророком, но неужели вы не поняли, что вас заметили в контактах с нами...

Вот тут-то со мной и случилось это. То ли , ярость, то ли обида помutilи мой рассудок. Я выхватил пистолет и заорал: «Убирайтесь ко всем чертям, негодяй!» И выстрелил... Он бросился в лес, а я во тьму выстрелил!»

\* \*  
\*

Авраам опустил на пол ягненка. Он был взвинчен и возбужден.

— Предъявим суду вещественные доказательства! — вскричал адвокат и стал потрошить багаж сына. — Алмазные судья, неподкупные ангелы! вот вещи того человека! Скажи, Исаак, что было между вами?

— Я вовсе не целился и рука моя сильно дрожала. Я только припугнуть хотел, чтобы он от меня отвязался.

— Вы слышите, они пришли причинить зло моему сыну!? Тот человек выдал Исаака, он угодил оттуда прямехонько на каторгу. Но прошу вас, — взгляните на вещи, полосатая куртка и шаровары! — в них нет дырки, Исаак промахнулся! Он жив, этот злой человек!

— Нет, Авраам, не так это было. Смерш следил за нами с самого начала. Они скрутили меня там же, на поляне, после выставки. Они за деревьями прятались. А Лейвика я убил, это точно. Лейвика не было на трибунале. Им позарез нужен был Лейвик свидетелем... Идти на родину и не дойти, умереть у самых врат ее! Что может быть горше? Быть убитым рукой слепого, невежественного брата, пройдя ужасы ада, прозрев в невероятных страданиях?

Авраам слушал сына, плакал мутными старческими слезами.

\* \*  
\*

Остались позади хлопковые пашни, абрикосовые сады в весеннем цвету. Садилось солнце, освещая салон косыми лучами через заднее стекло.

Впереди простиралось подножье Синая, зеленеющие холмы с ажурными вышками линий высокого напряжения.

Справа от дороги побежала речушка на мелких, галечных перекатах. А слева — гряда за грядой уже вздымались изумрудные вершины. И там, высоко-высоко, глаз различал экскаваторы, бог весть каким образом попавшие в эту местность. Черпали там экскаваторы то ли руду, то ли уголь.

Дорога и мрачные воспоминания сильно утомили зодчего. При всей своей подозрительности ко всему необычному, он не в силах уже был рассуждать.

Странным был их автобус, — мчал и мчал он без остановки весь день, не подбирая в пути пассажиров, не управляясь водой и бензином; не обернулся ни разу шофер.

И вдруг Исаак затрепетал неизвестно от чего. Местность эта показалась ему знакомой, — он был уже тут однажды! Вот он скажет, какой поворот сделают сейчас дорога и речушка, что откроется взору...

Быть может, он бывал здесь во время строительства Храма?

Быть может, из этих карьеров ему доставляли свинец и камень? Ах, это ли важно сейчас? Важно то, что цель их близка!

Зодчий видит уже подножье желанной горы, поселок, утопающий в садах. И ждет его там Лейвик! Зодчий абсолютно убежден, что есть в поселке чайхана, и в чайхане этой таджики варят по вечерам плов, жарят ароматный пашлык.

Быть может, Лейвик сидит в эту минуту в чайхане на ковровом паласе, с чайником зеленого чая. Волнуется, дожидаясь прибытия их автобуса. Лейвик страшно волнуется перед встречей.

И волнение Лейвика передалось Исааку.

\* \*  
\*

Ягненок опять покоился на коленях Авраама. Он гладил его.

Ах, до чего старику хотелось, чтобы и сын его был так же чист и безвиновен! Чтобы вышел Исаак из этой затеи без большого ущерба для своей жизни!

В мыслях своих Авраам вертел и подтасовывал все законы Торы.

— Нет, — говорил он. — Не для этого мы едем на суд, чтоб лишиться мне единственного сына! Если он и убил того человека, то этого хотел сам Бог. Кто может знать, каких зол натворил бы Лейвик, явись он тогда в Палестину!? Я призываю в свидетели вождя нашего, Моше Рабейну, вечные судьи! Пусть свидетель скажет, — те, что умирают, умирают правильно. Нет несчастных смертей. Уходят те, кто может спутать расчеты. Пусть подтвердит свидетель Моше, как вопил он Богу, когда ангел смерти шел истреблять наших младенцев в Мицраиме!? Не явился ли тогда пред лицо Его свидетель Моше, не восстал ли на Бога? «Иди к трудам своим, человек, — велел ему Бог.—Все, что от меня исходит, то и должно быть. А если не веришь, если сомневаешься — поди и спаси одного младенца, увидишь, что будет». Прошу следить за ходом моих мыслей, милосердные судьи. Так в протокол и пишите! Разве не подобно Моше, явился к несчастным и сын мой Исаак? Разве не спас их от гибели? Спас и подобно Моше откармливал собственным хлебом... Но пусть на этом месте отверзнет уста свои свидетель Моше, — что у него вышло впоследствии с тем младенцем? Именно этот негодяй и подбил под Синаем народ поклониться золотому тельцу, из-за него весь Израиль стоял на волосок от гибели. И вспомнил Моше, — кому положено было умереть в свое время, тот и должен уйти. И собственной рукой уже отнял жизнь у развратителя... Вы поняли меня, неподкупные судьи!? Исаак невиновен!...»

\* \*  
\*

## Г Л А В А 6.

В садах под Синаем вовсю кипела буйная, горная весна.

Стараясь удержать при себе сына, Авраам суетился, затевал угощение.

— Посиди немного за этим столом, Исаак, — говорил он, устроив зодчего под белой цветущей вишней. — А я тем временем ягненка накормлю, пощипаю ему травку.

Исаак же был огорчен и растерян.

«Лейвик не встретил автобус, не вышел обнять меня. Может он не расслышал, как мы подъехали? Может, сидит он в этом саду, за одним из столиков?»

С этой мыслью он поднялся и пошел по кипящему белым цветом саду. Кипение вишен и персиков было пронизано последними лучами золотого заката. В клетках, подвешенных чуть ли не к каждой ветке, заливались любовнам пением перепелки.

Люди, сидящие в чайхане, не скрывая лобопытства, разглядывали диковинного пришельца в допотопном офицерском мундире с планкой бряцающих медалей и в войлочных тапочках.

Исаак тоже внимательно изучал их лица.

«Быть может, Лейвик ассимилировался с таджиками, сидит сейчас между ними в чалме или в тубетейке? Быть может, он там, среди тех трактористов в промасленных спецовках? Нет, и здесь я не вижу его!... Оба мы сильно состарились, изменились, не можем узнать друг друга. Было бы ужасно, если бы я сразу его узнал. Это бы означало, что Лейвик мертв. Ведь только мертвые не стареют! Я понимаю, Лейвик хочет встретиться со мной в уединенном месте, как там, у Волчьего леса. Я выставлю свой Храм, подобное и притянет подобное. О, Храм его очень обрадует!».

Вернувшись к столику, Исаак нашел целую гору угощений, Авраам натащил лепешек, шашлыков, чай, две полные касы с пловом. Он успел еще напоить ягненка из родника, бывшего рядом с огромным серебрянным самоваром. Ягненок стоял сейчас под столом и покусывал травку.

И вот возликовал Авраам, показывая рукой на чайханщика с невероятными, черными усами:

— Мы заночуем в саду, на топчане. Я обо всем уже сговорился с Юсупом. Он даст нам подушки и теплые одеяла. Шофер тоже ночует с нами. А утром, первым же рейсом, отправимся назад. Видишь, сынок, никакого Лейвика нет? Твой Лейвик давно уже в Палестине. И помнить тебя не помнит! Позабыл начисто. Лейвик работает бухгалтером в цитрусовой конторе, отпустил солидный животик. Лейвик состоит в легионе бывших узников фашизма, выступает с трибун, борется за мир во всем мире. У него детей куча, у Лейвика. Машина и собственный дом. Летом они загорают на пляжах Средиземного моря. А недавно, годовой тебе отвечаю, он справил Пейсах с мацой и свечами, пил «лехаим» за нас, братьев в диаспоре.

Авраам притих, заметив с какой тоской и тревогой озирается

Исаак на окрестные горы, где пасутся отары овец, на эти склоны, где по тесным, крутым тропинкам бредут ослики, груженные тяжелой поклажей, выбивая копытцами облачка пыли.

— Я понимаю, сынок, тебе горько снова тут оказаться! Тошно видеть то место, где тебя истязали. Скажи, мой сын, они били тебя в этой же самой чайхане? Ну-ну, не надо расстраиваться, завтра вернемся домой, станем жить в одном доме с матерью... Ты у нас молодец, мужественный человек. Сам добрался до очага болезни, без профессора Кара-хана, без его глупого психо...

Точно молния пронзила расслабленный печалью мозг зодчего. Агент выдал себя, произнес имя патрона! Какое коварство, как ловко они подделались под образ всех его мыслей!? Обидно только, что так много они узнали. Исаак страшно опростоволосился, — под самый Синай привез врага чуть ли не на собственном горбу. Но отступать уже нечего, Исаак тут, и завтра Лейвик навсегда уведет его от преследования этой шайки

Схватив сетку, он бросился вон из сада.

\* \*  
\*

Сейчас он бежал над пропастью, узкой, каменистой тропой, поминутно оглядываясь. Отец догонял его, прижимал к животу ягненка, что-то кричал из последних сил.

Звякали на груди боевые медали, капитан артиллерии хладнокровно оценивал на бегу предстоящую стратегию боя.

Вот за одним поворотом отыскивал он глазами удобную площадку и кучу увесистых камней. Тогда он обратился к врагу лицом, взяв в руки по бульжнику.

Показалась погоня.

«Огонь!» — скомандовал капитан расчёту. И с большим удовольствием пустил снаряд.

Камень дал перелет. Но капитан не отчаялся. Так давно не стоял он за лафетом! Вышел из формы, как говорится. Такими неверными стали рука и глаз.

«Огонь!» — повторил он. И на сей раз вышел у него недолет.

Он взял еще два камня.

«Огонь!» И, видя траекторию снаряда, капитан ликовал. Этот летел неминуемо в лоб агента. Спасая свою подлую жизнь, старик инстинктивно прикрылся ягненком, будто щитом. И младший агент пал на тропинку с раскроенным черепом.

«Тоже неплохо...» — заметил себе капитан.

Смерть жертвенного агнца потрясла Авраама суеверным ужасом. В смерти этой открылось ему решение Всевышнего суда. И он прекратил погоню, смирившись с судьбой.

Но в этот момент следующий камень поразил Авраама в грудь, свалил на маленький стынущий трупик.

## Г Л А В А 7.

Зодчий, недоумевая, изучал подножье Синая.

«Где-то я уже слышал: не все места предания соответствуют правде! Вот, пожалуйста, — о подножии Синая предание повествует, будто разместился здесь весь стан Исхода. Но узкая, маленькая полянка... И сотня людей тут не поместится, не говоря уже о всех коленах израилевых, подобных своим числом песку морскому... Быть может, стан расположился с другой стороны горы? Вполне может быть! Нас с Лейвиком в данный момент интересует только вершина, а вершина у Синая, слава богу, одна. И лежат там скрижали, дожидаются нас! Как это просто, — Лейвик сумел догадаться, — Бог забрал их туда, откуда и дал!?».

И закинув голову, зодчий посмотрел на святую вершину.

Гора шла кольцами зеленых трав, лесов и лишайников, сама же вершина была окутана лиловым, непроницаемым туманом.

Спокойно и расчетливо зодчий представил себе, как бодрые и отдохнувшие, они пойдут туда завтра и Бог передаст им скрижали из рук в руки.

Вначале ему приглянулась поляна. Рос тут ежевичный куст, столетний карагач, лежал посредине огромный валун, скатившийся некогда сверху.

Места раскинуть великий Храм было вполне достаточно, однако сторожили его овечьи горошины в траве и валун не понравился.

Ночью, когда он достанет Храм для Лейвика, он должен быть абсолютно уверен, что никто им не помешает. Вот сорвался же когда-то этот валун, может сорваться и второй — и прямо на крышу Храма? Да и отару овец могут прогнать в полночь возле поляны.

И в награду за эту предусмотрительность он нашел вскоре замечательную пещеру.

Была она на другой стороне речушки, как раз против вершины.

Становилось темно. Ночь на Синае наступает сразу, едва садится солнце, поэтому зодчий не стал изучать недра своей пещеры, а спустился к речушке и искупался. Сполоснул белье, которое взял у вдовы Мирьям, развесил сушиться на ежевичном кусте.

Уже в кромешной темноте вернулся он в пещеру, зажег у входа огарок свечи, достал буханку хлеба, полосатую одежду. И облачился под Лейвика у Волчьего леса.

\* \*  
\*

Тогда и возник Храм.

Возник в одно мгновение, одним движением воли зодчего. Он приучил себя к этому с самого начала, с первого камня, что был

в его основании. С того торжественного дня, когда сам президент государства взял в свои руки рычаг башенного крана и мягко опустил огромный, краеугольный блок в бездну фундамента... И продолжалось так на протяжении долгих лет великой стройки: доставал и прятал, доставал и прятал.

Взметнулись на огромную высоту передние колонны фасада. Под самой луной вспыхнули семь огней семисвечия. И так горели, что звезды на всем небосводе дрожали и колыхались. Далеко внизу, на тесаных плитах стоял сам зодчий. Падали на него сверху глубокие тени.

Он двинулся вверх по лестнице. Сел, в изнеможении, на своей любимой верхней площадке.

Каменные плиты ласкали кожу, были теплыми, согретые неистовой любовью создателя к своей родине. Согретые его сердцем и душой, где они и хранились.

В первые минуты, когда он выхватывал из себя Храм, он чувствовал сильнейшую слабость и головокружение, будто сама жизнь отлетала от него. Особенно трудно приходилось в последние месяцы. Чем успешней строительство шло к завершению, тем тяжелее делался Храм, тем больше места в душе своей приходилось ему выделять. А может, это старел сам зодчий, здоровье иссякало?

«Сейчас пройдет, — говорил он себе. — Посижу малость на плитах, поглажу их кончиками пальцев. Мои дорогие камни снова сделают меня здоровым».

Но шло время, он гладил плиты обнаженной рукой, а облегчение не приходило. Появилась даже боль в печени, разлилась по животу, спине, заполнила то огромное пространство в груди, где всегда хранился Храм. Заныл вдруг шрам на затылке, сделалось тяжело голове и тошно. Тот самый шрам, что оставили на зодчем приклады пограничников.

Тогда он лег животом на теплые плиты, положил на них голову и впал в забытье.

Очнулся он будто от шороха. То ли свистнули в воздухе замшевые крылья нетопырей, то ли призрак вздохнул поблизости.

Он приподнял голову над плитами. У бокового придела, где были личные апартаменты первосвященника, увидел, как прячется человек. А в руках у него огарок свечи.

Зодчий не шевелился, чтобы не спугнуть Лейвика.

И вот, перебегая от колонны к колонне, прячась и замирая, дорогой гость приблизился к верхней площадке.

— Тебя испугал этот мундир, что лежит возле меня? Иди же, не бойся! На сей раз я с Храмом, а не с оружием.

— Теперь мне не страшен твой пистолет, — услышал он из-за колонны. — Знай же, я стерегу тебя, Ты снова появился на границе, пересечь которую тебе не позволено. Ты не хочшь этого понять, ты обезумел, капитан, плохи твои дела.

— Лейвик, не говори так, прошу тебя! Разве ты враг мне? Вот мы встретились с тобой на родине, как ты об этом мечтал.



Помнишь, ты звал меня в Палестину? И вот я тут. Я задержался, правда, с прибытием, но этому есть причина. Мы строили Храм. Осталось взойти на этот Синай, принести скрижали. Идем же, я покажу тебе мой подарок!

И Лейвик вышел на этот зов из своего укрытия.

Была на нем все та же полосатая одежда и шапочка, и различал Исаак даже строчки от споротого лагерного номера и споротой шестиугольной звезды. Но как ни вглядывался в его лицо, не мог различить его черт, ибо Лейвик умышленно держал свечу за спиной, — единственный источник света на всей огромной площадке перед колоннадой. И искажали черты Лейвика странные, уродливые тени.

Они вошли в распахнутые храмовые ворота, кованные из благородной бронзы, прошли вестибюль, передний зал.

Лейвик шел сзади, все так же странно держа свечу за спиной, а Исаак украдкой пытался заглянуть ему в лицо: постарел учитель или нет? Жив ли он, черт побери? Пока он не убедится, что тот постарел, он не будет иметь покоя.

— Он очень похож на своих предшественников, на Первый и на Второй, но вовсе не их копия, — давал пояснения зодчий. — В проекте пришлось сочетать целый ряд элементов одновременно — старинный классицизм и сегодняшний модерн, жизнь в Ханаане и кочевье в диаспоре... А вот роспись центрального зала служб и жертвоприношений целиком посвящена последней катастрофе нашего народа. Я дал указание художникам-монументалистам во всех сценах и фресках изобразить концлагерь Вольфвалде, тебя и твоих друзей. Есть тут и символические сцены, поясняющие, как озяреется истинной человек, истерзанный пытками. Смотри, Лейвик, сюда! Вдоль этой стены идут зеркальные лужи с водой, а в них овечьи морды, а здесь, напротив, те же самые лужи, но морды львиные... В этом месте ты стоишь за колючей проволокой, а здесь — ты со своими приятелями пробираешься на родину через всю послевоенную Европу. Скажи, Лейвик, это соответствует действительности? Вы в самом деле пришли тогда на родину?

— Пришли на родину... — послышалось сзади. Но не был уверен зодчий. Может, и эхо вернулось!?

— А теперь зайдем в Святая Святых, — осмелел зодчий. И они двинулись дальше и пришли к будущему жилищу Бога.

— Тут пока пусто, но все, что положено — будет! Все внесут завтра, когда мы принесем скрижали.

— Принесем скрижали... Конечно же принесем, ты здорово это придумал! Пускай, наконец, решат, что мне с тобой делать? Пусть освободят меня от моей должности не впускать тебя на родину!

Тут зодчий совершенно расстроился. И спросил уже прямо, чтоб не играть больше в прятки, ибо свеча по-прежнему не освещала лицо Лейвика.

— Мы стоим у основания вселенной, лицом к лицу с Законом. Скажи мне, брат мой, я убил тебя или нет?

И Лейвик охотно ответил. Речь его сразу окрепла, послыша-

лись в ней родные, давно забытые нотки. И сердце зодчего радостно встрепенулось, облитое умиротворением. Наконец он услышал голос учителя, живой и твердый.

— Не надо думать об этом, Фудым! Забудьте о ваших страданиях! Обо всем на свете забудьте, вы очень истощаете себя. Закройте глаза и спите!

И ноги его стали слабыми, подкосились. И потекло в него живое человеческое тепло. Он лег животом на основание вселенной, замер и вытянулся. Знакомые, мягкие руки стали щупать ему бока, затылок.

— Тут болит? здесь не беспокоит?.. Лейвик конечно же существует, Лейвик жив! Если бы он умер, вам отомстилось бы в жизни всемеро семиды...

Погруженный в блаженство и сладкое забытие, зодчий ухватился, однако, за эту мысль. Именно так у него и вышло: пытка за пыткой, от которых другой человек попросту бы свихнулся. Совершенно правильно! — всемеро семиды семь! Но за что, помилуйте?!

С огромным трудом разлепил он отяжелевшие веки, чтобы сказать это Лейвику.

Наконец, пламя свечи нормально освещало его лицо. И лицо это в упор смотрело на Фудыма, гипнотизируя. Одно лишь мгновение он вспоминал это лицо и вспомнил!

О, ужас! это был не Лейвик, ни живой, ни мертвый, а профессор Кара-хан, без смешного косоглазия к тому же. У лица своего, точно в насмешку, он держал руки в проклятых резиновых перчатках. Пальцы же были хищно скрючены, нацелены прямо на грудь, туда, где хранился Храм. И спасая свое сокровище, зодчий мгновенно сбросил с себя профессора.

Давно изучивший все проски вражеской шайки, особенно ее главаря, зодчий ничуть не удивился, обнаружив себя на жестких незнакомых камнях, разящих склепом.

Профессор Кара-хан дико захохотал, запрокинув от удовольствия голову. Зодчий почувствовал даже, как затряслись от сатанинского хохота стены Храма, зашевелилась свинцовая кровля.

И тогда, в пляшущем свете начался настоящий шабаш его мучителей.

«Вызываем свидетеля Моше Рабейну! — крикнули откуда-то сверху.

У входа в пещеру появился долговязый, жилистый старец с тяжелым посохом. Был он причудливо одет, белая борода, точь в точь пена морская, лежала у него на груди.

— Вот я! — прогремел старец при своем появлении.

Зодчий увидел подле себя профессора Кара-хана в белом накрахмаленном халате, как всегда после мертвого часа, когда профессор совершал обход в сопровождении врачей и студентов.

«Наибольшей выраженности достигает «палестиномания» в припадках неистовства, — монотонно бубнил профессор, — Здесь характерна весьма своеобразная мимика: широко раздуваются ноздри, гу-

бы сжаты, сильно стиснуты зубы. У нашего больного вы можете наблюдать даже вертикальную морщину. Глаза его, вследствие усиленного притока крови к лицу, буквально вылезают из орбит, усиливая тем самым злобную мимику».

— Короче, профессор! — грубо вмешался агент, выдававший себя за Моше. — Где этот человек обитает?

И так же скучно, будто читал по книге, профессор продолжал бубнить:

«...Углубленное клиническое исследование интеллекта нашего пациента выявило, что в данном случае нельзя говорить о слишком большой разорванности мышления. В мышлении Исаака Фудыма можно проследить, и даже понять логически-ассоциированные связи. Поведение больного характеризуется полярностью асихинских реакций. Ощущения радости и восторга он испытывает от жизни на воображаемой родине. Там, представьте себе, он строит не больше, не меньше, как Третий Иудейский Храм. А противоположные рефлексы: злобность и гневливость проявляет..»

— Чепуха! — протрубил белый и косматый с посохом. — На родину никогда ему не попасть. Ни меда, ни жала его нам не надо. Так и передайте во время занятий. А что он еще вообразил?

— Сейчас вы наблюдаете у больного безучастную реакцию, — продолжал глумиться профессор, готовя зодчего к позору. — Я уверен, что именно сейчас он и прячет в себе этот Храм. Прошу всех пройти в кабинет, сделаем маленькую рентгеноскопию».

Зодчий оказался вдруг на ногах, у входа в пещеру. За спиной у него стояла полная, как прожектор, луна, пронизывая тело голубыми лучами.

Кто-то задул ненужную теперь свечу. Агент Моше подошел ближе. Вместе с профессором стал разглядывать в нем что-то, копаться в зодчем, как черт знает в чем.

«...Прошу посмотреть ниже, — уже бойко и с азартом шептал профессор. — Потемнения в области печени, а в почках — осколчатые скопления, Самые обыкновенные камни. Отсюда и начинается паранойдная связь: Храм, Синай, скрижали!».

Зодчий снова был брошен на скользкие камни пещеры, разящие склепом, но с издевкой и назидательно.

— Под Синаем не может быть чайханы. Там пальмы, и играют скрипки!

Стискивая зубы от перенесенного унижения с рентгеном, зодчий подумал, что старик, возможно, и прав: под Синаем и в самом деле уместней играть на скрипках, а не развешивать клетки, чтоб трещали дурацкие перепелки.

Но тут новый голос заставил его насторожиться.

Голос этот принадлежал лейтенанту из тыловой разведки. Это они скрутили капитану Фудыму руки после выстрела в Лейвика.

— Пошарьте жидовскую падлу поглубже, он еще что-то прячет, — завизжал лейтенант. — Пошарьте, ребята по-настоящему! Они все заодно!

Он выхватил кинжал диковинной формы, острием уперся в

грудь зодчего. И зодчий мгновенно рассчитал: если кинжал войдет сейчас в грудь, он упрется в одну из главных опор Храма и разрушит его.

Страшным усилием он напряг все мышцы, и, судорожно сокращая их, начал отводить острие кинжала пониже. Но и тут, если бы кинжал вошел, — причинил бы не меньшие повреждения. Тогда зодчий стал сокращать брюшные мышцы, и кинжал вовсе отошел в сторону, к почкам. Это было значительно ниже фундамента, и тут он позволил ему погрузиться в себя.

— Эта сволочь хитра и коварна! — заорал лейтенант. — Они давно снюхались! Он снабжал их оружием, выдавал военные тайны! Дави его, ребята! Дави насмерть!

Тогда опять послышался унылый голос профессора Кара-хана:

— Славик! Сбегай в еврейскую палату, кто-то из них там буянит!

Свист и шипение послышались в пещере. У самых своих глаз с ужасом увидел зодчий маленькое, дегенеративное личико Господина Удава. Замелькали в воздухе мускулистые кольца, играя звериной силой. Он дохнул на зодчего смрадным дыханием библейского гада и принялся обвивать его тело смертельными спиральями, подбегаясь к самой груди.

Зодчий почувствовал, как трещит Храм. И ничего тут нельзя было поделать.

От бессильной этой мысли сознание покинуло его.

## Г Л А В А 8.

Такова участь гения во все времена и у всех народов: он идет к людям с хлебом жизни, а те кидают в него камни!

Какой только облик не принимают враги и завистники, лишь бы сорвать великий замысел! Унижают зодчего, сочиняют небывшие о камнях святого Храма, глумятся и топчут его ногами.

Сон его, как всегда, был глубоким и освежающим. И ангел тоже был с ним. Шепнул ласково: пора, Исаак, вершина ждет тебя! Сегодня вы принесете с Лейвиком скрижали!

И счастлив был зодчий. Сегодня ночью он видел Лейвика. Тот пробрался к нему сквозь заслоны оборотней, сказал, что откроет свое лицо.

Вход в пещеру был залит солнцем. Слышался шум речушки на мелких галечных перекатах. Ворковали горлянки. На другом берегу кипела белым цветением вишня.

Зодчий снял полосатую одежду, отлично послужившую ему этой ночью. Лейвик без долгих слов узнал друга!

Нагим он опустился к воде. На ежевичном кусте было развешано белье. Оно было свежим, прохладным, хорошо высохшим. Он умылся, облачился во все белое.

Зодчий взглянул на вершину. Как и вчера, она окутана была лиловым, непроницаемым туманом. И он поразился: когда он смотрел на вершину из окна палаты, она всегда была чистой, а

тут, когда он рядом, — непроницаемый туман. И понял, в чем дело: — там тайна, святыня. Святыне не полагается быть открытой.

Он вспомнил, как этой ночью пришла ему в голову новая мысль. Он попросит изменить чуточку текст прежних скрижалей, по которым руководствовалось до сего дня человечество. Неужели никто еще не догадался, что они устарели?

Первой следует поставить заповедь:

«Не убей брата своего!»

Почему ее? Зодчий и сам толком не знает. Но убежден, что именно ее следует поставить первой. Если дадут разрешение, конечно!

Вождь наш, Моше Рабейну, высекал скрижали сорок дней, они с Лейвиком управятся с этой работой вдвое быстрее. Там, на вершине, должно быть, и мастерская Моше сохранилась и весь его рабочий инструмент. Они с Лейвиком этим воспользуются.

Этой ночью Лейвик велел ему идти на вершину с буханкой хлеба. Должны же они есть там что-нибудь? А Бог — сотворит чудо: этой буханки им вполне хватит на двадцать дней!

И он пошел.

Поднявшись немного в нагорье, где цвели маки и росли одуванчики, он спросил себя, надо ли выбрать маршрут попроще: идти тропинками, петлять и не трудиться? Но тут же отругал себя: зачем ставить под сомнение чудо восхождения, навлекать на себя гнев? Столько раз он приятно убеждался, что подобное притягивает подобное! Храм сейчас точно нацелен на вершину, быть может, на самые скрижали! Разве могут помешать ему эти грозно нависшие скалы впереди? Прошел же тут в свое время Моше! И он пройдет, как на крыльях. Хотелось бы знать только, что за магнит был тогда в душе у вождя Моше? Конечно, же, тоже Храм!

Он поднимался выше и выше. Оглядываясь назад, зодчий восхищался, видя, как распахивается под ним обитаемый мир людей. Чем выше он поднимался, тем обозримее становился этот мир, тем дальше проникал его взор.

Не жалкая козявка-человек, словно по веровочной лестнице, полз на страшный суд к небу! Сам Зодчий третьего иудейского Храма будто в награду за свой немислимый подвиг, делался великаном, и вместе с ним становились огромными и всемогущими его самые лучшие чувства, рожденные в пытках и страданиях.

Вот великан добра и любви, облаченный в льняные кальсоны и рубашку, остановился поразмышлять у говорливого горного ручья.

Сухая ветка лежала поперек воды, а белые вишневые лепестки сблизись в кучу. Но в его воображении ручеек этот превратился во взлетную бетонированную полосу, а лепестки — в горделивые межконтинентальные лайнеры.

И великан поднял ветку — шлагбаум, и лайнеры — лепестки стремительно рванулись вперед.

Тогда пришла зодчему новая мысль: вторую заповедь он изложит так:

«Не будь сторожем брату своему!»

Ведь одним из этих самолетов уже летит на родину несчастный Натан Йошпа!

Он постарался запомнить вторую заповедь. А творческая мысль его стала работать в одном направлении.

Напротив себя, на склоне горы он увидел отару овец. Был при овцах пастух, множество псов с лаем носилось вокруг отары. И сама собой пришла третья заповедь:

«Пусть к каждому придет лев и возьмет его в братья!»

Да, ничего не поделаешь! Сама судьба, видать, так устроила его жизнь, чтоб на собственном опыте вывел он людям новый смысл их бытия.

Великан все рос и рос, и никто не мог с ним сейчас сравниться. Лишь Бог и Лейвик стояли выше его. Стояли на этой лиловой туче и следили его восхождение. И скоро их будет трое. На Совете троих они приступят к редакции новых скрижалей. И хорошо бы все десять заповедей подготовить заранее. Зодчий опять обратился к опыту своей жизни.

Из повелений непременно следует дать:

«Пусть каждый окончит факультет (истории) своего народа!».

Вот именно! И окончит его как можно пораньше, в детстве! Когда ангел спасения не так суров к человеку. Разве Фудым или Йошпа так уж виноваты, что не были заранее готовы к резкой перемене в своей судьбе? Разве их это вина, что выросли они такими слепцами, лишённые национального воспитания? Ах, жестокий, всевышний суд, где твое милосердие?!

Он стал сочинять пятую заповедь. Тут пришлось ему туго, ибо пятую заповедь следовало трактовать, как открытие всех границ у народов. Ведь именно для того и построен людям Третий Храм.

Тут все ясно зодчему. Он даже знает, когда придет время пасться рядом волку и овце. Все предопределено до начала седьмого тысячелетия от сотворения мира. Седьмое тысячелетие — субботнее! Что на небе день, то на земле тысячелетие. Тут кумекать немного надо. За шесть дней был сотворен мир, в седьмой день Бог отдыхал. Зодчему рассказал эту высшую истину один старый каббалист, вообразивший себя Авраамом Первым. Было это во время строительства, когда приходили под стены Храма толпы проходивцев и шарлатанов. Но того чудака с ягненком зодчий запомнил, и мысли его пришли к нему по душе.

Седьмое тысячелетие от сотворения мира будет на земле золотым. Осталось до него каких-то двести семьдесят лет. И Бог уже репетирует предстоящее слияние народов на земле древнего Ханаа-

на. Разве не едут сейчас на родную землю иудеи со всех концов земли? Разве не живут вместе люди, ничего не знавшие друг о друге, и разве их государство не процветает?

Ах, эти репетиции исторические! На первенце своем, на Израиле, Бог репетировал всегда грядущие события мира. Мы точно артисты на арене мира. И как бы блестяще мы ни исполнили сюжеты, написанные нам Богом, нам всегда доставались от других народов туманы, а не овалы.

Нет уж, пятую заповедь зодчему не одолеть. Тут иной опыт нужен. Пусть это скажет тот, кто придет в Иерусалим на белом коне — Мессия!

Все чаще теперь он останавливался. Пот заливал лицо, он вытирал его рукавами, с трудом переводил дыхание. Рубашка промокла насквозь, прилипла к груди и спине. Босые ноги кровоточили. Он поранил их об острые камни и колючие травы. Ноги, давно отвыкшие от ходьбы, дрожали и подгибались.

«Это нечисть выходит из меня вместе с потом и кровью, — счастливый подумал он. — Надо бы отдыхать почаще. Я должен предстать на вершине бодрым и сильным, не похожим на безумца. Здесь над вести себя достойно. Они смотрят на меня, глаз не спускают и складывают обо мне мнение».

Зодчий взглянул на тучи, ставшие грозными, черными. Он подумал со страхом: быть может, именно это и есть те самые тучи, что мешали Натану Йошпе улететь на родину? Они посылались ему в наказание. Аэропорт — это тоже граница, которую стерегут ангелы мщения. Почему этот безумец никак не поймет, что каждому определен час, когда он придет на родину? Самолет на родину — это тоже святыня, которую следует ограждать от слепцов и безумцев. Святыня эта для Натана в лиловом, непроницаемом тумане.

Потом он вошел в карагачевую рощу. Склон Сивая был тут очень крутым, усеян камнями и иглами колючих кустарников.

Деревья скрыли от него вершину. Скрыли подножье, где были пальмы и кошерный ресторан со скрипками.

Что-то случилось с ним, он испугался. Минуту он чувствовал себя великаном, способным постичь необъятный мир. Гениальным умом, вмещавшим в себе все прошлое от сотворения мира и даже предвидевшем грядущие времена! А тут — разом вдруг обнищал умом, оскуднел духом...

И понял! О, ошибаются люди, утверждая, будто там, где тесно, — думается просторно.

Нет, человек рожден жить на свободе, в полете! Человек должен жить на вершинах, а не в дремучем лесу, иначе с ума сойти можно. Душа твоя будет рваться в стихию неба, а тело обречено будет жить в клетке. И дойдет человек до того, что станет строить помойку для столовой в каком-нибудь скорбном доме.

И зодчий поспешил выйти из этой рощи, навевающей на него дурные, неясные воспоминания.

Он ступил в шелковистые мхи, обласкавшие израненные ноги. Снова увидел вершину и успокоился.

Зодчий повалился на мхи, решив основательно отдохнуть. Подождать, когда вернутся силы, чтобы штурмовать нависшие скалы, что стояли перед ним во всей своей неприступности.

Время торопило его. Надо придумывать новые заповеди. Об отношении к родителям нового сказать он не может. Не было у него родителей. Нет здесь у зодчего ни капли опыта. Пусть остается, как было в старых скрижалях:

«Не вези агента в сад на горбу своем!»

Хорошо бы сказать что-то и об отношениях между мужским и женским полом.

Вспомнил зодчий, как была у него в жизни женщина, но что именно было у них, нет уже сил вспомнить. Помнит, как сидели они где-то на диване, напротив стоял телевизор, ели огурцы и яблоки. А напротив, на другом диване сторожил их библейский гад. Чудовище урчало, посапывало. Смотрело на них единственным, едва приоткрытым глазом. Стерегло их чудовище, чтоб они не согрешили, не дай бог. Теперь-то ясно — женщина эта приходилась ему любовницей. Плохо это, большой грех. Пусть и тут редакция старых скрижалей остается в силе:

«Не давай меда своего вместе с жалом!»

Полежав достаточно долго, он почувствовал, что отдохнул. Поднялся на ноги.

К телу вернулась легкость, зато в груди — там, где был Храм, стало очень тяжело. Храм буквально пригибал его к земле.

И опять пришли грешные мысли — может, не стоило воздвигать Храм из камня? А только из стекла и алюминия, совсем под модерн?

Но понял, что и это ему искушение. На вершине сейчас проверить хотят — достоин ли зодчий своего творения? Сможет ли пронести его через все головоломные скалы, занесенные снегом.

У первой же скалы, что он взялся одолеть, нависли над головой его грозно кипящие тучи.

«Как странно клубится во гневе подножье Всевышнего! — струсил он. — Вот я подымусь повыше, пройду головой эти черные тучи, сразу припаду губами к Божьим стопам. Я вымолю прощение за тот выстрел, за то, что стрелял в родину. А Лейвик будет стоять рядом и замолвит за меня словечко. Нас помирят с Лейвиком, и мы сразу приступим к работе».

С тучей, однако, происходило что-то странное. То ли солнце ее нагревало, и она подымалась, то ли ветер ее колыхал, но сколько человек ни карабкался вверх, она так и стояла над ним. Даже коснуться головой этой тучи никак не получалось.

Тогда зодчий понял: надо дотронуться до нее рукой, кончиками пальцев. Пусть через это прикосновение передаст он все свое раскаяние и смирение. Но каждый раз рука хваталась за новый выступ в скале, и только! И подтягиваясь, он полз выше.

Приходилось быть очень внимательным.



Ногой, наощупь, искать место на обледенелых камнях, а больше думать о безопасности Храма! Сорвись он в пропасть, и Храм разобьется вдребезги.

Пот заливал лицо, ноги занемели до бесчувствия.

Вдруг он понял, что некуда больше поставить ногу. Камни сделались скользкими, как стекло. Не за что было ухватиться скрюченными пальцами. Он выбросил к туче руку с буханкой хлеба и закричал:

— Лейвик, брат мой, помоги!

Но не вышла из клубящихся туч спасительная рука брата, не подхватила гибнущего Исаака. И чтобы не сорваться в бездну, он выронил буханку хлеба. А свободной рукой удержался за что-то. Спас-таки Храм!

«Где же Лейвик? — всхлипывал он окостеневшими от смертного страха губами. — Почему он не стоит надо мной ногами? Конечно, он там, на вершине! Но где же она, эта проклятая вершина? Еще мгновение — и им пришлось бы собирать от Храма одни осколки!».

С последним, неистовым упорством он продолжал карабкаться дальше. Черные тучи так и стояли над ним. Потом в их чреве стали сверкать молнии.

Совершенно остервеневший, он увидел, наконец, вершину. И ковыляя босыми ногами в колючем снегу, бросился обнять Лейвика. Учитель был где-то здесь!

Стояла над вершиной черная туча, сверкавшая молниями. Несколько ключев ее так и оставались на скалах, пряча, по-видимому, Лейвика.

Дико озираясь кругом, он завопил в лихорадочном нетерпении:

— Лейвик, где же ты, брат мой? Это я, Исаак!

На камнях снега почти не было, его сносило свистевшими здесь ветрами. Была на вершине маленькая площадка, Исаак добежал до ее края, заглянул в бездну. И обратившись лицом своим к туче, снова завопил страшно:

— Лейвик, где же ты? Это я, брат твой Исаак!

Голос его быстро достиг тучи. Но вместо того, чтобы захлебнуться там, как в вате, вернулся обратно, как от каменной стены. Вернулся громовым, искаженным эхом:

— Исаак, где брат твой Лейвик!

Сверкнула молния и ослепила зодчего. И громовой голос пронзил его насквозь. Дрогнули клонны Храма, зашевелилась свинцовая кровля. И затопил все его существо грохот. Затопил мозг, уши. И чтобы спасти Храм от этой катастрофы, он бросился бежать с этого места. Не отдавая себе отчета, ослепший и оглохший, он достиг края площадки и сорвался вниз.

Снова загрохотало, но услышать это Исаак Фудым уже не мог.

## Г Л А В А 9.

Услышал грохот камнепада старик Авраам.

Услышал далеко внизу, в чайхане, лежа на ковровом паласе.

Запрыгало в горах эхо обвалов, грома пошли по ущельям. И пронзило Авраама нечто. Он поднял голову, обвел сад мутным взглядом больного человека.

— Слышите, Юсуп? Это Исаак, сын мой, — сказал он чайханщику с невероятными усами. — Там суд свершился!

— Лежите папашка, лежите! — поспешил успокоить раненого чайханщик. — Весной всегда так бывает в наших горах: камень сорвется, ослик оступится...

Авраам сбросил с груди мокрое полотенце, которым лечил его Юсуп, и побежал из сада.

Точно сомнамбула, прошел он по тропинке над пропастью, где вчера пролил его кровь сын Исаак, достиг поляны со столетним карагачом, кустом ежевики, валуном и речушкой. И вошел в пещеру.

Он нашел здесь полосатую одежду, в которой искал вчера следы пули, офицерский мундир, войлочные тапки, огарок свечи и спички.

Старик разодрал на себе сверху донизу странного покроя не то чапан, не то халат, потом собрал вещи, оставшиеся от сына, и поджег их.

Он сел на скользкие камни пещеры, разящие склепом, и стал посыпать голову тем, что надарापывали вокруг его скрюченные пальцы.

Думал Авраам о древнем законе Ханаана, что велит сжигать одежду, оставленную сыном-убийцей. Просил покоя душе его, чтоб забыли в мире о меде и жале Исаака Фудыма.

**Конец**



## ЦВИ ВАРШАВСКИЙ

# строки любви

Кто может трезво объяснить,  
За что он любит,

тот не любит.

Рассудка слабую нить  
Тупой топор легко разрубит,  
А я люблю тебя за все —  
Какой была, какой ты будешь,  
За все, что помнишь, и за то,  
Что, не любя, легко забудешь.  
Что ты нежна и холодна,  
Что,  
не взглянув, проходишь мимо,  
Люблю за то, что ты одна  
Мне навсегда необходима.

\*

Любовь пределов не имеет,  
И даже тот, кто подглядел  
Чужую тайну,

не сумеет

Определить ее предел.

Любовь в слова не заключают,  
Что ей стихи — они тесны!

Ей никогда не назначают

Поры прихода и цены.

Она сама определяет,

Кого из двух сразить сперва,

И, побеждая, предъявляет

Свои Высокие Права.

В любви не может быть победы.

Любовь не спор, не спорт, не бой,

В любви все радости и беды

Жестоко связаны с тобой.

\*

Ты пришли мне телеграмму в

Никуда,

Ну, хотя бы с горьким словом:

«Никогда!»,

Пусть меня сжигают холода,

Присылай мне телеграммы иногда.

Ты ведь знаешь, я не разлюблю,

Сил моих неистощим запас,

Отзовись — я все перетерплю,

Я тебя в себе разлукой спас.

\*

Гуди, метель, с утра до вечера,  
Крути снега!

К тому, кто любит недоверчиво,  
Судьба строга.

Мороз,

раздельвай под кружево

Стекло в окне!

Я, процедив тоску, выуживал

На самом дне

Крупицы светлые, горошины,

Сходил с ума...

Все, верю, было б по-хорошему,

Да вот... зима.

\*

Когда уходит человек,  
Темно на свете.

Неважно,

падает ли снег,

Иль стонет ветер.

Уходит прочь — нельзя помочь:

— Спасите, люди!

Но никогда счастливой ночью  
уже не будет.

Лучи скрестились, как мечи,

И тьма нависла,

уходит человек — молчи,

Кричать нет смысла.

\*

Теперь хоть бей в колокола,

Все пусто, бесполезно.

Любовь была,

любовь ушла,

Чернеет след, как бездна.

К кому?

Не все ль тебе равно,

Ты, видно ей наскучил...

Да то не град стучит в окно

И дождик не из тучи.

Ты проглядел.

Она ушла,

Оставь, не бей в колокола.

\*

Маячит старость под окном,

Она уже стучится в двери,

А мы бодримся, мы не верим,

Но запереть не можем дом.

Ах, если б годы возвратить

И все понять,

И все простить!

Но календарь худеет с каждым днем,

Его листы, как листья, опадают,

Всего, что с ними вместе пропадает,

Мы ни за что на свете не вернем,

А календарь худеет с каждым днем.

\*

Все чаще чувствую усталость,  
 А сам живу, как жить не след,  
 Живу, как будто мне осталось  
 По меньшей мере двести лет.  
 И мотовствую, не считая  
 Часов и дней прожитых зря,  
 И тают, в небыль улетаю,  
 Мои листки с календаря.  
 Но бесконечными ночами,  
 Вернувшись к прожитому дню,  
 Я соревнуюсь с палачами  
 И сам себя в себе казню.  
 Свои поступки разбираю,  
 И, как маньяк, в полубреду,  
 Когтями память раздираю  
 И исцеления не жду.  
 Как по ночам трезвеет разум!  
 И с прокурорской прямою  
 Он обвиняет не по фразам,  
 Вся суть которых — звук пустой.  
 Он ничего мне не прощает —  
 О, кары Страшного Суда! —  
 Он только память возвращает  
 В невозвратимые года,  
 Где несвершенность жжет и глохнет,  
 Корит уступчивость в борьбе...  
 Нет справедливее и строже  
 Суда, который весь в тебе.  
 В нем милосердия не ищи ты,  
 Он, если рубит, так силеча  
 И обвиняет без защиты  
 И сам казнит без палача.

\*

Память, сито-решето,  
 Отсеивает, да не то,  
 А случится — постучится  
 Словно дятел — долото:  
 — Тук-тук-тук! — по коре,  
 по коре березовой,  
 в январе, в янтаре,  
 А в апреле — розовой:  
 — Тук-тук! Тук! — рубят сук,  
 Стук до обалдения:  
 — Тук! Тук! Ту-у-ук — долгий звук  
 переплыл в гудение.

— Тук, Тук! Тук! — в голове,  
 В сердце отзывается,  
 Кто-то был, да забыл,  
 Как он называется,  
 Где-то плыл, кем-то слыл,  
 Загорался молодо,  
 Птицей пел, волком выл,  
 Каменел от холода.  
 Решето — решето,  
 Память, как бездомница,  
 Отсеивает, да не то,  
 Что должно запомниться.

## ВАЛЕРИЙ КУКУЙ



Вначале было слово. Слово «мама». За ним пришли другие слова, и одно из первых — «Хочу». Оказалось, однако, что мое «хочу» далеко не всегда согласуется с «хочу» власть предержащих. Например, мне представилось естественным наряду с русским знать древний язык моего народа, читать книги на этом языке, посещать театр, где ставились пьесы из его жизни, его истории... Выяснилось, что это невозможно. Так создалось парадоксальное: мой язык — иврит, из которого не знаю ни одного слова; моя страна Израиль — где никогда не был. Чужой язык оказался родным; в чужой стране, ставшей чужой задолго до того, как я оставил позади ее границы, я родился и прожил 35 лет...

Сохранилось желание рассказать многое — о себе и о других, нашедших путь к самим себе и медленно ступающих по тернистой тропе, и о тех, кто еще в стороне от нее, но верится, найдет.

И, наверно, долго еще я смогу рассказывать только по-русски. Нельзя же приносить в жертву возможность и необходимость достаточно полно, убедительно и своевременно высказаться.

## КАК Я НЕ СТАЛ АКТЕРОМ

К восемнадцати годам судьба приготовила для меня должность чертежника в проектной конторе. Дни текли серые и одинаковые, как карандашные линии на моих чертежах, и еще не истерлись из памяти мечты о штурманской рубке огромного океанского лайнера. И было немного стыдно перед самим собой за ту жалкую роль, какую жизнь мне подкинула.

Бухгалтером в этой конторе служила пожилая еврейка Клара Абрамовна. Встречая, она всегда внимательно меня разглядывала, как-то вкрадчиво и немного бесцеремонно. Это меня не удивляло. Я не очень похож на еврея и к восемнадцати годам привык, что некоторые присматриваются ко мне, угадывая, еврей я или нет.

Однако вскоре я убедился, что ошибался, Клару Абрамовну интересовало не мое происхождение.

Однажды она остановила меня в коридоре:

— У меня к вам есть дело, Миша.

Клара Абрамовна о чем-то подумала, затем, как всегда в нос немного растягивая слова нерешительно проговорила:

— Дело не совсем обычное, вернее совсем необычное, и к работе не имеет отношения.

Заметив на моем лице нетерпение, снова заговорила:

— Скажите, Миша, вы любите театр?

— Конечно, люблю, Клара Абрамовна, — не задумываясь ответил я.

— А какой театр вы любите больше всего, Миша? Оперу, музыкальную комедию или драму?

Я задумался. На подобный вопрос у меня имелось несколько ответов. Я избрал самый неопределенный.

— Я люблю все жанры, Клара Абрамовна. Все зависит от пьесы и от постановки.

— Это очень хорошо, Миша. Это говорит о широте ваших интересов. Но все-таки, какой самый любимый жанр в театре...

Пришлось избрать другой ответ.

— Самый любимый... пожалуй, все-таки драма.

— Я так и думала, — вздохнула Клара Абрамовна как будто с облегчением, и в ее взгляде появилось что-то. Такими взглядами обмениваются познавшие друг друга единомышленники, сторонники редких религиозных учений, коллекционеры почтовых марок одинаковой тематики, и, наверно, двое негров случайно встретившихся на северном полюсе.

— Видите ли, Миша, — продолжала Клара Абрамовна, — я тоже страстно люблю драму. Ну, профессиональной актрисой я не стала, как видите. — Клара Абрамовна слегка подчеркнула это «как видите», — хотя произнесла без грустной интонации. — И даже не пыталась ею стать. Дело, видимо, в том, Миша, что я слишком поздно обнаружила это свое призвание. Было уже не до учебы — семья, заботы... Но я не смогла отказаться от сцены совсем. И вот вместе с мужем — он теперь уже на пенсии — организовала драмкружок при нашем домоуправлении. Коллектив у нас небольшой, но очень дружный. И люди есть способные. Катенька, например, окончила школу и хочет поступать в театральное училище.

Клара Абрамовна улыбнулась, говоря о Катеньке.

— И вот какое дело у меня к вам, Миша. Мы в драмкружке собираемся ставить новую пьесу, небольшую, одноактную. Пьеса очень интересная, действие в ней развивается очень быстро. Из времен

гражданской войны... Вы меня извините, Миша, что я так непоследовательна... Одним словом, я хочу предложить вам, Миша, не желаете ли вы попробовать свои силы на сцене?

Клара Абрамовна замолчала, немного откинула голову назад и благожелательно улыбаясь, глядела на меня.

Я стал раздумывать над ее неожиданным предложением.

Клара Абрамовна как будто спохватилась, замахала рукой и почти испуганно, быстро проговорила: «Нет, нет, не отвечайте сразу, подумайте, а потом скажете. Завтра, например... Хорошо?»

— Хорошо, я подумаю, Клара Абрамовна.

Весь день и вечер я думал над ее предложением. Итак, сцена! А почему бы и нет? Почему именно техник-конструктор?

Сыграю на этой самодеятельной сцене, сыграю хорошо. Потом районный смотр художественной самодеятельности. Меня замечают. Переговариваясь между собой, в мою сторону одобрительно кивают члены жюри... После спектакля за кулисы приходит маститый режиссер, член жюри. Он жмет мне руку и сдержанно поздравляет. Он интересуется, каковы мои дальнейшие творческие планы, не мечтаю ли я о профессиональной сцене... Голова у меня кружилась. Я долго смотрелся в большое зеркало маминого трюмо, воображая себя в разных знаменитых ролях.

И еще Катенька. Образ ее, пока безликий, притягивал меня, волновал.

Ночью мне приснилось, что я Гамлет — не то на сцене, не то настоящий. И я произношу его: «Быть или не быть — вот в чем вопрос». Меня не понимают, и я догадываюсь, что следует сказать на языке Шекспира: “To be or not to be?”.

И тут возникает неизвестно откуда Клада Абрамовна и отвечает мне: “To be, of course to be”. Она тут же спохватывается и повторяет по-русски: «Быть, конечно, быть!»

«Буду!» — решаю я, проснувшись утром.

Затем я иду на работу, вызываю из бухгалтерии в коридор Клару Абрамовну и, стараясь не выдать своих чувств, говорю ей:

— Я обдумал ваше предложение, Клара Абрамовна, пожалуй, я попробую.

Клара Абрамовна заметно обрадовалась.

— Конечно, Миша, конечно. Вы правильно решили. Я сразу оценила, что у вас есть способности. И поверьте, я не ошиблась. Вот увидите!

— Не могу ли я познакомиться с пьесой? — робко спросил я.

— А как же! Обязательно, Миша! Я была уверена в вашем согласии и захватила пьесу с собой. Подождите, я сейчас принесу.

Клара Абрамовна зашла в бухгалтерию и через минуту вынесла небольшой сверток. Она развернула его, и моим глазам явилась стопка белых листов с жирным машинописным текстом.

— Я не буду рассказывать вам, Миша, о пьесе. Вы человек развитой и сами оцените ее. Расскажу только коротко о главных ролях и их исполнителях. Итак, вы, Миша, в главной роли — в роли капи-



тана Герцева. А в роли подпольщицы Веры — наша Катенька.

Кларе Абрамовне, видимо, очень нравилась Катенька. Она не могла произнести ее имя без приятной улыбки.

— А вот в роли большевика Петрова... — лицо Клары Абрамовны посерьезнело, в голосе появились нотки, с которыми женщины говорят о сильных, суровых и непреклонных мужчинах. — В роли большевика Петрова выступит Вася. Это... удивительный человек, Миша. Простой рабочий, — кузнец. И из очень простой семьи. Рост — во! Плечи — во! Руки Клары Абрамовны сделали внушительные движения. — Очень скромн, неразговорчив, почти замкнут. И при всем этом любит сцену. Замечательно, правда?

Я кивнул.

Клара Абрамовна вновь завернула листы с пьесой в сверток и протянула его мне.

— Вот возьмите, Миша. Не забудьте, ваша роль — капитан Герцев. Очень интересная роль.

Клара Абрамовна откинула голову назад, прищурилась и удовлетворенно проговорила, глядя на меня: «Да! Именно таким я и представляла себе капитана Герцева».

В муках, дождавшись окончания рабочего дня, я выскочил на улицу, уселся на свободную скамью в ближайшем сквере и принялся за пьесу.

Я готов был поклясться, что никогда раньше не читал и не видел этой пьесы. Но я видел десятки похожих на эту, как друг на друга похожи два гвоздя. В таких пьесах обычно заранее известно, кто положительный, а кто — отрицательный герой и чем вообще все закончится. Мне всегда было стыдно за актеров, которые играли в таких пьесах, и я не понимал, как они могут всерьез этим заниматься — все-таки взрослые люди! Теперь мне предстояло оказаться на их месте. То-то будет хохотать мой друг Димка, когда увидит меня в роли капитана Герцева. Я бы тоже с удовольствием посмеялся, если бы увидел его в такой пьесе. И у меня появилась злость на Клару Абрамовну, которая втравила меня в эту глупость. Впрочем, еще не поздно отказаться. Уж пусть лучше серые карандашные линии чертежй, но не... Слова я не нахожу, но уже знаю, как поступлю завтра.

На другой день я вручил пьесу Кларе Абрамовне. И на ее вопрос: «Ну, что, понравилась вам пьеса, Миша?» — преодолев ложный стыд, ответил: «Я не уверен в своих силах, Клара Абрамовна. Нет, нет, не уговаривайте меня, это так».

Мы попрежнему вежливо раскланивались с Klarой Абрамовной при встречах, но боюсь, я навсегда стал для нее человеком, вполне заслуженно утопающим в серой повседневности чертежей.



## ДАВИД МАРКИШ

Я родился в Москве, 24 сентября 1938. 1 февраля 1953 получил десять лет ссылки как ЧСИР — член семьи изменника родины. Освободился в 1955, после смерти Сталина.

Учился в Литературном институте и на Высших курсах киносценаристов и кинорежиссеров.

Приехал в Страну 8 ноября 1972, и считаю этот день днем своего рождения.

Печататься начал семнадцати лет. С тех пор занимаюсь литературой профессионально.

Роман «Присказка» я оцениваю как наиболее существенное из того, что сделал. «Присказка» — первый роман трилогии, над которой работаю.

Я пишу по-русски, и, как мне кажется, переход на иврит для меня маловероятен. Говоря о литературном двуязычии, принято приводить в пример Эфраима Кишона. Однако Кишон — счастливое исключение. Впрочем, я не вижу беды в том, что пишу по-русски: я владею этим языком в достаточной степени, и было бы неразумно отказываться от него по каким бы-то ни было соображениям.

Публикуемый в этом номере «Сиона» рассказ «Живучее мясо» написан в Израиле. Может показаться странным, что, уехав, наконец, из России, я вернулся к российской теме. Однако же герой рассказа мог класть печи в любой другой стране, где хватает дров для топки. Проблемы этого героя свойственны всякому человеку, ибо проблемы эти — нравственные. Человеческая душа, а не человеческое гражданство представляет собой объект исследования писателя.

## ЖИВУЧЕЕ МЯСО

Павел по трезвому делу подковы не гнул никогда — человек он был смирный и незаносчивый. А по-пьянке, в интересный момент, подкову где возьмешь? На улице ведь подковы нынче не валяются на каждом шагу. К тому же лошадей Павел не любил и даже опасался: мало ли, как у скотины в голове шарики катаются... И другая живность, приспособленная на пользу или потеху человеческому роду — птицы, собаки — Павла не занимала ничуть. С человеком куда интересней и в приязни, и в скандале.

Был Павел крепок, как дубовый пенек, и ремесло его было доброе и хлебное — печник.

Какой извив судьбы привел его, Павла Капустина, в узбекский город Ош — над этим он не задумывался. Родители его приехали сюда из России, жили здесь и умерли — а он остался жить, вот и все. Из окошка его глинобитной хибары видны были далекие горбы великих памирских гор, где Павел — за ненадобностью — никогда не бывал: печи там клали из камней, как при царе Горохе, а людей, по слухам, было куда меньше чем в том же Оше. Да и неизвестность, неизведанность необжитых горных мест Павла не привлекала нисколько. В свои сорок лет он из Оша не отлучался ни разу и находил это вполне естественным. Ни в других каких городах, ни, тем более, на горных кручах, дел у него не было, и ничто его туда не влекло и не манило. Со всепрощающей ухмылкой глядел он на жидкие цепки туристов, топавших в своих тяжелых башмаках — к горам. Туристы были по большей части российские, издалечные — и несло же их в такую даль, а зачем? На одну только дорогу сколько денег надо, да и рюкзаки, небось, набиты по самую завязку не дерьмом бесплатным...

Слыл Павел в Оше первым печником, и по праву. Печи его были добротны и затейливы — клад для хозяйки, подарок для хозяина. Вмазывал в них мастер и казан для плова, и тандыр для лепешек, и — по особому соглашению с заказчиком — потайное помещение для самогонного аппарата. А главное — не дымили Павловы печи, и тепло держали наредкость.

И — не пил Павел по собственному желанию, а только по необходимости и по ремесленному своему долгу.

Ранними утрами, во всяком случае, трезв он бывал всегда.

Равенко утром, еще по холодку, развернув тяжелые круглые плечи, шел Павел гомонным ошским базаром, на добрую голову возвышаясь над базарными людьми. И базарные люди почтительно узнавали его:

— Пашка идет, печник!

А Павел, неспешно следуя к чайхане, подгробал к сидящим на земле торговцам, справлялся доброжелательно: почем красный перец, почем лук, мед, помидоры. И, узнав цену, удовлетворялся и шел дальше.

Закусывая в чайхане люля-кебабом и лепешками, и обсуждая со случайным соседом способы точки ножей или виды на урожай хлопка, Павел вскользь, но с совершенной, полной удовлетворенностью осознал свою свободу: был он холост, никак не грозил ему жидкий утренний чаек с глазу на глаз с опостылевшей до колик какой-никакой женой, с которой ни о чем новом поговорить невозможно. А о тройке учтенных своих детишек, гонявших где-то по пыльным опшским улицам, Павел вспоминал с довольной, доброй улыбкой. Он их никогда и не видал, этих самых своих детишек, старшему из них, по примерным подсчетам, следовало уже ходить в класс седьмой-восьмой — но Павлу все они почему-то представлялись босовогими малышами, гоняющими по горячей солнечной пыли. Познакомиться с ними или хотя бы взглянуть ради любопытства Павел не желал: родственная связь сковывала бы и мешала вольному разговору.

Горький день, о котором пойдет речь, начался для Павла безоблачно: неспеша и добротнo позавтракав в базарной чайхане, он вычитал в замусоленной записной книжечке в зеленом клеенчатом переплете адрес очередного печного заказчика и поднялся с дивана. Заказчик жил неподалеку, и миновав овощной, а затем скотский базар, Павел вышел на нужную улицу. Заказчик — пожилой крепкий узбек — уже ждал, сидел на лавке у ворот.

— Здоров, Пашка! — сказал узбек. — Пойдем плов есть, потом работать будешь!

— Да завтракал я... — сказал Павел. — Кирпич-то привез?

— Кирпич привез, — подтвердил узбек. — На печке весь дом держится — как без плова начинать?

— Это-то, конечно, — согласился Павел. — Печка — это точно... Ну, пойдем, раз такое дело, плов — это я люблю! Рис-то — на базаре брал, или магазинный?

На столе помимо плова в большом блюде, разложены были на тарелках соленые огурцы и помидоры, твердые перья зеленого лука с белыми головками, лежали свежие лепешки на клеенке, и чал мутно светился в большой стеклянной банке. Бутылка водки была уже откупорена, и узбек, не мешкая, разлил в пиалы.

— Давай за печку! — сказал узбек. — Чтоб хорошо выпшла!

— Я вообще-то не пью, — без подъема возразил Павел, — особенно до работы... Может, вечером обмоем, а?

— Так никак нельзя! — решил узбек. — Печка — дело серьезное. Давай это сейчас выпьем, а вечером повторим.

— Да я вчера печку сложил одному, тоже узбеку, — совсем уже вяло, с грустью в голосе сообщил Павел, — так мы с ним к вечеру так нагрузились — ужас! Он-то спать лег, а я как домой пошел — врезал одному по шее, ну, меня в милицию и поволокли. — Раздумчиво глядя на водку, Павел медленно поворачивал пиалу, утонувшую по самый ободок в его большой ладони.

— Раз со стола поднял — теперь ставить нельзя! — нашелся узбек. — Ты вон какой здоровый, что тебе одна пиалка? А вечером —

хочешь, спать у меня ложись.

— У меня свой дом есть, — твердо сказал Павел и взял соленый огурец пальцами. — Ну, давай, что ли, черт с тобой!

Под плов дело пошло веселей. Бутылку скоро закончили, а потом разлили еще и маленькую.

— Я тебе помогать буду! — вызвался узбек, стоявший на ногах уже нетвердо. — Ты только скажи...

Павел терпеть не мог, когда ему помогали в его деле, но отказать узбеку было неловко.

— Держи вот метр, что ли, — сказал Павел, острием мастерка чертя по глинобитному полу комнаты основание будущей печи.

Работал Павел быстро легко. Работа словно бы подвигалась сама собой, а он, Павел, только управлял ею. Так, во всяком случае, казалось узбеку, покачивавшемуся из стороны в сторону со складным деревянным метром в руках. Воздвижение печи шло споро и заметно, и этого, собственно говоря, достаточно. Не в печи дело.

— Не скажу, как ты, а вот я лично — всегда за справедливость! — ни с того, ни с сего сказал Павел, разгибаясь на коленях и оборотя голову к узбеку. Мысль эта, высказанная теперь в словах, занимала Павла, надо думать уже давно — может, с первой пиалки водки, а, может, и ранее того. — Пускай ты даже узбек или кто — извини, конечно — а я все равно за правду между людьми. Справедливость — она должна быть! За это и пострадать можно.

— Зачем пострадать? — переспросил узбек. — Мы тихо живем, никого не трогаем.

— Да нет! — даже расстроился Павел непониманию узбека. — Трогаешь ты или не трогаешь — это ни при чем тут. Ты тронешь — так и тебя тронут... Я вообще говорю: чтоб была справедливость! Вот вчера меня в милицию забрали — а за что? За что — ты знаешь?

Узбек отрицательно покачал головой, показывая, что он не знает ничего.

— Потому что выпили мы вечером вчера, — продолжал Павел, — печку обмыли, как полагается. Домой иду, гляжу — двое против одного, драться хотят. Я, конечно, спрашиваю — в чем дело, что случилось, граждане? А они со мной разговаривать не хотят. Я одному по шее врезал, который поближе стоял. Тут — милиция, всех нас забрали. Я не сопротивлялся, сам шел, потому что я против справедливости никогда не попру. Тот, кому я врезал — у него башка висит.

— Шею сломал ему, что ли? — поинтересовался узбек. В орехово-масляных глазах узбека вдруг загорелся живой интерес и словно бы причастность к делу.

— Сломал, не сломал — не об этом я рассказываю, — уклонился от ответа Павел. — На него, во-первых, те двое сами напали и часы хотели отнять... Так мне что обидно? Я хотел, как лучше, а получилось, как хуже. И участковый мне говорит, заявляет: ты, говорит, Капустин, кончай хулиганить, а то я выпшлю тебя отсюда, из Оша, и еще срок намотаю... А если б я водку вчера не пил — я, может, в этот скандал и не встрял бы, — заключил Павел.

— А зачем полез? — спросил узбек. — Года два могут припасть, трудно, что ли...

— Так я зачем лез-то? — вскинулся Павел. — Я хотел, чтоб по справедливости вышло, а теперь, тот, с шеей, хочет в суд подавать на меня.

— Ну, может, не подаст, — предположил узбек. — Ты ему дай рублей пятьдесят.

— Это потому, что я печник, — высказал уверенность Павел. — Был бы я сторож, или работага простой — так не пил бы. А так — каждый день получается. Вот нынче кончу — ты ее обмывать не хочешь, что ли, печку?

— Конечно, обмою! — подтвердил узбек.

— Ну, вот! — сказал Павел. — А я, как напьюсь, за справедливость, что хочешь, отдам! Прямо беда...

Обедать сели часа в три. Перед обедом узбек собрался бежать в винную палатку, и Павел дал ему пятерку: неловко, все же, пить весь день на узбекские деньги, некультурно. Узбек пятерку взял, принес поллитра с четвертинкой.

За обедом Павел много говорил, ругал вчерашних милиционеров, поминал, как забрали его в участок и на прошлой неделе — тоже, по его словам, в результате путаницы и ошибки. Узбек слушал невнимательно: с трудом выпив свое, он подремывал, как лошадь. Но Павел снисходительно не обращал внимания на узбека.

Шум скандала донесся в самом конце обеда. Павел вскочил, словно бы поднятый со своего места сильной пружиной, внезапно освобожденной. Очухался и узбек, прислушивавшийся с понимающим видом.

— Это у соседей, — объяснил узбек напряженному Павлу. — Там старик один живет, трехнутый, — узбек покрутил большим пальцем у виска. — Он как начнет буянить — все от него бегут. Старый — а здоровый!

— Он, что ж — дерется? — осведомился Павел и сжал губы в виточку.

— Всех лупит! — сказал узбек с некоторой даже гордостью. — И дочку, и внучат, и если в гости кто зашел. Зять-то на работе! И мебель всю ломает, и посуду. Сумаспешный он, его даже в больницу не берут!

— Пошли! — решил Павел. — Я его сейчас скручу. Сумаспешный, а дерется, как нормальный. Я ему как врежу — сразу успокоится. Мебель ломает! Деньги он за нее, что ли, платит?

Предвидя развлечение, узбек рысцой поспевал сбоку от крупно шагавшего Павла. Они пересекли двор, вышли на соседний. У двери дома, запертой снаружи на висачий амбарный замок, плакала на лавочке женщина-узбечка, тесно собрав вокруг себя четверых детей. Дети жались к матери, но без особого испуга: для них, видно, происшествие было не в новинку.

— Что ты плачешь, женщина? — требовательно спросил Павел, остановившись против плачущей.

Узбек, приведший Павла, быстро заговорил что-то на родном языке, и женщина согласно закивала головой. В доме в это время слышался сильный грохот крушения, и женщина завывала в голос.

— Она его на замок закрыла, — описал положение узбек, — чтоб он на улицу не убежал, а он в доме все рушит.

— Ключ давай! — распорядился Павел. — Я ему сейчас покажу...

Получив без возражений ключ, Павел открыл замок и, войдя в дом, щелкнул внутренней задвижкой. В доме накоротко восстановилась тишина, и женщина с узбеком и детьми — все они вслушивались напряженно, в неестественных, неудобных положениях. Только новый грохот, подтвердивший продолжение жизни в доме, вывел бы слушателей из оцепенения.

Он и раздался.

В большой комнате Павел едва успел разглядеть жилистого смуглокожего старика, седого, в просторных белых шароварах и белой же, широкой рубашке навыпуск. Старик прятался за углом буфетного шкафа, пристально наблюдая за разведочно входящим в комнату Павлом. Едва Павел вошел, старик швырнул в него медный кумган — и попал. Павел провел ладонью по лицу, нащупал липкую, теплую кровь.

— Ишь, ты... — удивился Павел. — Ну, смотри, я тебе...

Старик передвигался по комнате удивительно уверенно и быстро, швыряя в Павла — и не без успеха — посуду, стулья. Павел, пригнув голову и расставя руки, загонял понемногу старика в угол. Оказавшись в углу, старик вдруг бросился на гороподобного, растрепанного и избитого Павла с мужеством отчаяния. Павел высоко занес кулак — но так и не опустил его, застыл: горячие, слепящие отвагой глаза старика оказались у самого Павлова лица, и гибкие кожаные стариковы пальцы вцепились в шею Павла и сжали ее с силой. Машинально напрягли тяжелые мьшцы шеи, Павел неотрывно глядел в глаза старика — и ударить не мог.

— Ты что... — прохрипел Павел. — Ты что, дед...

Потом с осторожностью, аккуратно расцепил пальцы старика на своей шее и отвел его руки к бокам. Старик дергался, бился.

— Я ж по-хорошему, — назидательно, как ребенку, сказал Павел, удерживая бьющегося. — А ты вон меня всего как раскровянил.

Старик молча, упрямо вырывался, и Павел поднял его, взял на руки. Оторванный от земли, старик вдруг успокоился, он только продолжал, редко и коротко мигая, смотреть на Павла — теперь уже вопросительно.

— Ах ты, — сказал Павел, легонько покачивая старика на руках. — Ишь, бедовый какой. Разве ж так можно? Они ведь тебе тоже добра хотят.

Старик отвел глаза, потом закрыл их; его голова, сплошь заросшая неровно стриженными, короткими седыми волосами, осторожно легла на плечо Павла, и Павел вдруг почувствовал легкую, летучую отрешенность от всего на свете, и стоял неподвижно.

— Мама, — прошептал старик, не открывая глаз. — Мама...

Старик спал.

Хмурьм, подавленным вышел Павел из дома, спустился с крыльца.

— Ну, как? — спросил узбек, подходя. И женщина тоже глядела на Павла с облегчением. — Дал ты ему? Сразу, небось, тихо стало...

— Спит он, — сказал Павел. — Спит на диване... Пошли, работать надо.

До вечера он работал молча. Узбеку, выспрашивавшему о подробностях усмирения старого безумца, он не отвечал и внимания на него не обращал никакого. Закончив кладку печи, сел к столу, положил сведенные в кулаки ладони на столешницу.

— Обмывать будем, что ли? — спросил узбек неуверенно.

— Валяй! — утвердил Павел. — Огурцы тоже ставь — те, что утром были... Жена-то будет работу принимать?

— Чего там! — сказал узбек. — Чего ей смотреть... Насмотрится еще.

За ужином пил больше Павел, сам и наливал. Был он рассеян, говорил невпопад. Узбек, спрашивавший безответно, после первой обмывочной бутылки помалкивал, то-и-дело оглядывал свою печку и желал, видимо, скорейшего окончания ужина.

— С человеком по-хорошему надо, — сказал Павел, выпив последнюю стопку и отставив ее, порожнюю, в сторону. — Взять, скажем, деда. Что ж он — не человек, что ли? Еще какой человек!

С тем он поднялся из-за стола и пошел к двери.

А узбек сидел еще, покривил рот, покачал головой, а потом кликнул жену — смотреть печку.

Странный человек Пашка. Но печник — такого поискать надо.

Он шагал домой через базар, прошел его уже почти насквозь и подходил к воротам. У ворот сидел на стуле, прикованном цепью к вереве, дежурный милиционер.

— Пашка! — сурово окликнул милиционер, когда Павел поровнялся с ним. — Стой, тебе говорят!

Павел остановился, глядел на милиционера недружелюбно.

— Это ты, — продолжал милиционер, — будку сапожную своротил и людей оттуда разогнал? Тебя там видели!

— Какую будку! Работал я, начальник, — сказал Павел и шагнул было.

— Стой, говорю! — закричал милиционер, сунул в рот свисток и переливчато, тревожно засвистел. Еще двое в сапогах, в серых форменках подошли сразу, как из-под земли появились.

— Ведите его в отделение, — сказал дежурный тем двоим. — Начальник приказал его доставить, это он лавку своротил. Вон, рожу как ему разукрасили!

— Пройдемте, гражданин! — сказал один из конвоиров и легонько толкнул Павла в спину.



В участке было пусто — вечерний улов еще не поступил — и милиционеры играли в нарды, сидя на деревянных лавках, отшлифованных человеческими задками до медного блеска. По сырому, пахнущему мочой коридору, конвоиры провели Павла к начальнику и ушли.

— Я тебя, Капустин, предупреждал по-хорошему — посажу! — сказал начальник ленивым голосом. — Вчера только предупреждал... А ты сегодня будку разрушил, дрался, водкой от тебя несет. Так?

— Я будку не рушил, гражданин начальник, — оправдался Павел. — Я с работы шел, никого не трогал..

— Может, ты и водки не пил, а, Капустин? — прищурился начальник. — И вчера не ты здесь сидел? Ты прикинь своим помидором — что ж это получается? Ведь некому больше будку рушить, ты один такой у меня на примете!

— Не рушил я, — повторил Павел. — А водку — пил, это — да. У меня работа такая, чего объяснять-то.

— Ты два года хочешь получить исправительных? — посуровел, переменял тон начальник.

— Не хочу, — сказал Павел. — Кто туда хочет?

— Тогда сегодня уезжай из Оша, чтоб духу твоего здесь не было! — распорядился начальник. — Я б тебя оформил на срок, да у меня и так в этом месяце перебор по хулиганству. Ты вчера шею повредил человеку при свидетелях? Я тебя сейчас арестую и в КПЗ посажу!

— Куда ехать-то, гражданин начальник? — спросил совета Павел. — У меня ведь дом здесь... Как мне жить в чужом месте?

— Проживешь! — обнадежил начальник. — Человек — мясо живучее. В колхоз езжай в какой-нибудь, там тоже печи людям нужны.

— Так ведь опять тогда пить! — горько сказал Павел.

— Это, конечно... — задумался начальник. — А ты езжай на Памир — там водки не достанешь, подвоза нет. Я тебе полгода даю на исправление, и чтоб сегодня вечером очистил город!

Устроился Пашка Капустин коноводом в караван — гонять вьючных лошадей по Памирским крутизнам. В караване, помимо него, значилось еще четверо вьючников и караван-баши. Вечерами, сидя вокруг пластающегося на черном ветру костра, караванщики, перемигиваясь, вызывали Пашку на рассказ о безумном старике, назвавшем его «мама», а потом, уснувшим у него на руках. В высокогорной скуке и однообразии рассказ представлялся дурацким — и караванщики много смеялись.

А рассказчик упрямо, из вечера в вечер, доказывал им, что тот старик был всем старикам старик, только никто с ним по-хорошему не разговаривал, вот он и одичал. Это иступленное упрямство еще более, чем сам рассказ, веселило караванщиков, и они беззлобно смеялись, считая Павла тронутым слегка человеком.

А больше никакого проку от Павла в караване не было — лошадей он не знал, не любил и боялся.



## РИВКА РАБИНОВИЧ

Я считаю себя сибирячкой, хотя родилась в Риге. В возрасте девяти лет я была выслана из Риги в Нарымский край на 20 лет (вместе с родителями, конечно). Немного недоотбыла срок, благодаря смерти великого вождя народов, но 18 лет все же отбухала. Так что лучшие годы прошли там... Самые яркие впечатления, самые незабываемые воспоминания вынесены оттуда.

Что же, я благодарна этой жизненной школе. Без нее разве бы я узнала, как больно «отходят» в комнатном тепле руки и ноги, заочневшие на морозе, и как вкусен простой кусок хлеба?

Писать начала... раньше, чем научилась писать. Вечером в темноте детской рассказывала брату бесконечные импровизированные сказки. Овладев премудростью алфавита, сложила большой лист оберточной бумаги из магазина родителей, села с ним на пол и начала писать «книгу».

С тех пор прошло много лет, а книга моя все еще не написана. Почему? Потому, что все годы забота о хлебе насущном, необходимость быть практичной заставляла меня заниматься другими делами. Вероятно, призвание было недостаточно сильным: ведь настоящий писатель отказывается от всего, ставит жизнь на карту, а пишет...

Свои первые литературные гонорары я заработала во время войны в Сибири: подружка, дочь зажиточной колхозницы, платила мне ломтем хлеба за хорошую сказку.

Много разных работ приходилось мне выполнять — от пастьбы коров до преподавания математики. Здесь, в Израиле, вновь вернулась к перу, хотя газетная работа и переводы — далеко не всегда творчество.

Читательская аудитория на русском языке здесь несравненно уже, чем в Союзе, но писать хочется. Лучше писать для сотни читателей, чем для ящика письменного стола. Здесь, я, может быть, еще закончу свою большую книгу, задуманную и начатую давно. Медленно, медленно, но она движется вперед. Я обязана ее написать. Обязана перед той маленькой девочкой, которая когда-то разложила на полу большой лист бумаги и села сочинять книгу.

Ривка Рабинович.

## БАНАЛЬНОСТИ

В наш век не осталось уже  
 Неоткрытых Америк,  
 Но упорно мы ищем Америку:  
 Каждый — свою.  
 Провозглашаем

величие истин банальных!

Как бы ни пыжились мы  
 В поисках формы сверхмодной,  
 Все же являемся в мир  
 В банальном обличи двуногом,  
 В нем прошагаем  
 Отрезок,

судьбой отведенный,

И в срок свой исчезнем  
 С лика старухи-земли.  
 Сколько бы мы ни искали  
 Сверхновые слов сочетанья,  
 Не превзойти никогда им  
 Величия двух слов:

«Я люблю...»

Верую в эти слова,  
 Как истово веруют в Бога.  
 Что из того,

что не вижу любви? —

Ведь и Бога не видит никто!  
 Жду я прихода любви,  
 Как народ мой веками  
 Ждет терпеливо прихода Мессии.

## ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ



## ПЕРЬЯ БЕЗУМЦА

Папа стапил пыльные ботинки:

— Проклятая жара.

— Если бы ты мог закрывать хоть немного раньше, — посочувствовала мама.

— Как я могу закрыть, когда у других еще открыто? — папа облегченно сунул ноги в шлепанцы, — и сегодняшний день лучше вчерашнего: я выручил на три золотых больше.

Сын делал уроки и старался не слушать.

— Учись, — сказала мама.

Сын промолчал.

Между тем, папа продолжал:

— Если так пойдет дальше, мы сможем нанять в лавку приказчика.

Вечером семья отдыхала на террасе.

На желтое пламя свечи из глубокой тьмы налетали бабочки. Они обжигали легкие крылья и падали замертво. Мама брезгливо сбрасывала их щеточкой на пол.

— Не понимаю, — сказала она, — зачем им нужен свет? Могли бы еще жить...

— Помнится, в школе мы проходили, — сказал папа, — что все живое наделено инстинктом самосохранения. Выходит, жажда света сильнее инстинкта.

— Выходит, — подтвердила мама. — Но я не понимаю, что им дает свет?

— Бабочка... — исчерпывая тему, сказал папа.

На дорожке заскрипел гравий — пришел гость. Подобно папе, он имел свое дело и был уважаемым человеком в городе. Но в отличие от папы, гость торговал не воском, а пухом и перьями. Успехи одного не отражались на благоденствии другого, поэтому они могли дружить.

Гость охотно принял предложенную чашку чая, щедро положил в нее сахар и сказал:

— У меня для вас приятные новости.

— Верите рогалик.

— С удовольствием. Сегодня в моей лавке был сумасшедший Икар.

— Неужели опять появился в городе?

— Представьте себе. Он говорил, что за годы скитаний ему удалось скопить немного денег, и теперь он сможет осуществить мечту.

— Собирается открыть торговлю? — обеспокоился папа.

Гость рассмеялся:

— Не хватит ума! Собирается лететь к Солнцу.

— Куда?

— К Солнцу.

— Зачем? — спросила мама и сбросила на пол еще одну обгоревшую бабочку.

— Дурак! — сказал гость.

— Дурак! — сказал папа.

— Дурак! — согласилась мама. — Но зачем?

— Это его дело. Он скупил у меня все перья за наличные деньги. Ему, видите ли, нужны крылья. Первоначально он думал скрепить крылья смолой, но я убедил его, что лучше воском. Завтра он будет у вас.

Мама расчувствовалась:

— Вы — преданный друг.

Папа поколебался самую малость и решил:

— Принеси бутылку вина. Выпьем за удачу.

Как известно, летом дни длинные, люди меньше употребляют свечей, и в торговле воском наблюдается некоторый застой.

— Все-таки интересно знать, — спросила мама, — чего ему не хватает на Земле? — Как все женщины, она была любопытна.

— Пора спать, — сказал гость и поднялся.

В то далекое время еще не были изобретены ни радио, ни кино, ни телевидение, и люди ложились спать раньше.

С раннего утра город изнывал от зноя.

Такую погоду помнили только старики. И это вполне естественно. Ибо старость приносит мудрость и немощь. И если бы старики не все знали и не все помнили, у них оставалась бы одна немощь.

Но жара — жарой, а дело — делом.

И сегодня город жил так, как вчера, и так, как будет жить зав-

тра. Мальчишки, нанятые стекольщиком, били горожанам окна, и торговец мясом расположил свой товар возле кожевенника: запах кожи заглушал все остальные запахи.

Папа зазывал в свою лавочку покупателей, и чтобы его голос перекрывал голоса конкурентов, применил новшество — прикладывал ко рту руки лодочкой. Но когда впоследствии человечество изобрело мегафон, о папе даже не вспомнили.

В центре базара высился святой храм. Внутри храма в углублениях стояли боги из белого камня. У ног каждого бога лежала специальная тарелочка. Точно такие же тарелочки были у нищих на паперти храма. И боги, и нищие занимались попрошайничеством. В тарелочки прихожане бросали деньги, нищим — из жалости, богам — на всякий случай.

Прилично одетый человек вошел в храм, ничего не подав нищим, сопровождаемый их проклятиями. Он подарил одному из богов медную монету, затем благоговейно опустился на колени, чтобы, согласно обычаю, облобызать божьи ноги. Он ухватил губами с тарелочки золотую монету и спрятал за щеку.

Это заметили.

Жулика били долго. Сперва в назидание ему, затем, когда он уже ничего не чувствовал, — для острастки окружающих.

Воспользовавшись общей суматохой, папа недовесил клиенту четверть фунта воска.

Этого не заметили.

Точно так же прошло незамеченным и то, как по воде разошлись быстрые круги. Круги расходились все шире, стирались, море поглотило их и опять стало неподвижным.

И только в опаленном небе одиноко кружилось несколько ослепительно белых перьев.

Ветер нес их по всему свету.

А в это время в школе нескончаемо тянулся нудный урок.

Темой урока была жизнь великого царя. Великим царь стал из-за удачливых военных грабежей. Не будь он царем, его попросту вздернули бы за бандитизм.

Но детям говорили, что царь возвеличился воинскими подвигами.

Когда урок кончился, ученики радостно зашумели и побежали купаться. Вместе со всеми побежал купаться и сын торговца воском.

На берегу моря лежало перо.

Ребята плавали, ныряли, брызгали друг в друга водой.

Вернувшись на берег приятно усталые, они застали сына торговца воском за странным занятием — концом пера мальчик чертил на песке какие-то фигуры.

— Что ты делаешь, Архимед? — спросил один.

— Отойди, ты можешь испортить мои чертежи.

**ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЗЫВЫ О ДАННОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА, А ТАКЖЕ О ЖУРНАЛЕ «СИОН» ВООБЩЕ ПРОСИМ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: ТЕЛЬ-АВИВ, УЛ. ХИССИН, Д. 4а, ПОДЪЕЗД Б, КВАРТИРА 8.**

**НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 299832, 299942.**

**ЖЕЛАЮЩИЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ «СИОН» МОГУТ ОФОРМИТЬ НА НЕГО ПОДПИСКУ, ВЫСЛАВ ЧЕК ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ.**

**СТОИМОСТЬ ОДНОГО НОМЕРА — 4 ЛИРЫ; СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ — 24 ЛИРЫ.**

©

**Все права на литературные материалы,  
опубликованные в журнале «Сион», при-  
надлежат их авторам**

**All Rights for Literary Publications  
in Zion Magazine Reserved to the Authors**